Елена Афанасьева

ТЕАТР тающих теней

Знаковый роман

Елена Афанасьева

Театр тающих теней. Конец эпохи

«Издательство АСТ»
2023

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Афанасьева Е. И.

Театр тающих теней. Конец эпохи / Е. И. Афанасьева — «Издательство АСТ», 2023 — (Знаковый роман)

ISBN 978-5-17-149350-9

Анна выросла в дворянской семье в доме на Большой Морской. Она уезжает с семьей в имение матери к морю, чтобы пережить там смутное время Гражданской войны. Ей предстоит долгий путь к свободе в самое несвободное время, путь к самой себе через несвободу традиций, условностей и ужаса кровопролитной войны. Революция, ожесточенное противостояние большевиков и белогвардейцев, смена власти, Петроград, Крым, Берлин, хрупкая молодая женщина, ее дочки, непутевый племянник мужа, неправильная, не вовремя случившаяся любовь и маленький волчонок… Читателю, знающему всё, что случится со страной дальше, остается только волноваться за Анну, выживет ли она в этом меняющемся мире, вдруг превратившемся в театр тающих теней. Новый роман Елены Афанасьевой, которую Борис Акунин назвал «Пересом-Реверте, в совершенстве освоившим русский язык».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-149350-9

© Афанасьева Е. И., 2023
© Издательство АСТ, 2023

Содержание

Тревожный город 6
Богиня утренней зари 11
Под знаком волка 30
Из дневника Анны 50
Конец ознакомительного фрагмента. 52

Елена Ивановна Афанасьева
Театр тающих теней. Конец эпохи

© Е.И. Афанасьева, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023

Тревожный город

Анна. Петроград. Сентябрь 1917 года

– Чем жертвовать будем?

Странная хозяйка, спросив день, месяц, год и даже час ее рождения, проводит несколько линий на заранее расчерченных листах тонкой папиросной бумаги. И, едва взглянув на расчерченное, вопрошает:

– Жертвовать чем будем?

Она знает, что должна родить сына.

Всегда знала. С тех пор как не стало ее отца. С таким же именем, с такими же глазами, с таким же голосом. С таким же, как вокруг отца, пространством, в котором, и только в котором, ей всегда удивительно хорошо. Даже не хорошо, а единственно возможно. С пространством, в котором – и только в котором! – она может жить. После смерти отца она жить как прежде – летая – не может. И знает, что должна вернуть это пространство на землю. В собственном сыне вернуть.

* * *

Осень. Обреченная на зиму осень… Не благость лета, но и не стужа зимы.

Умерший от полученных на японской войне ранений отец учил ее когда-то несложным иероглифам. Виточек к виточку – рождается смысл. Из простых иероглифов складываются сложные.

«Рис на корню» и «огонь» складывается в иероглиф «осень».

«Осень» и «сердце» складываются в иероглиф «тоска».

Осень на сердце – тоска.

Осень. И ветер. Пронзительный, не ласкающий, а простегивающий насквозь ветер заполняет всё пространство, оставшееся между небом и землей.

И хруст листвы под ногами. Тревожащий, дрожью отдающийся внутри живота хруст.

Откуда эта тревога, что разливается внутри?

От новой жизни, что живет в ней?

От иной внешне новой жизни, которая вытесняет, выдавливает, выталкивает ее из прежнего, может, и не отчаянно счастливого, как мечталось в юности, но вполне привычного и дорого ей бытия?

Гулко…

Гулко…

Отчего так гулко? Словно она сама внутри большого колокола. В колокол тот ударили, и всё пространство гудит внутри. А она в сердцевине.

Гул пронизывает насквозь, и множится, множится, в голове ее множится. И уже она сама становится тем языком, что, раскачиваясь в брюхе колокола, разбиваясь своими боками о его бока, выбивает новый гул.

Гул… Только разбитые от ударов бока болят, да голова кружится в предощущении следующего удара. Так в детстве в ближнем имении, когда с деревенскими ребятами летала на веревке, привязанной к высокой ветке, не зная, куда этот полет занесет. Вышвырнет в речку? Ударит о нависший над речкой утес?

Гул… Она становится движением, а тяжелые литые края колокола всё близятся, близятся… Еще миг, и болью своего удара она вызовет новый гул, а сама отлетит обратно, чтобы с ударом о другую крайность этого ограниченного бытия вернуться и начать всё сначала.

И лица… Лица… Совсем иные лица. Не те, которые она привыкла видеть в городе прежде. Или просто она не в свою часть города забрела?

Город. Совсем чужой город.

Несколько кварталов по набережной Мойки в сторону от ее привычных дорог, а уже будто чужой город. Или теперь весь город чужой? И весь мир чужой?

Здесь где-то невдалеке, говорят, живет Блок. Как он может тут жить? Здесь же можно сойти с ума. Если всё это видеть каждый день, непременно можно сойти с ума.

Как он может здесь жить? И как она может сюда идти?

Одна. Беременная. Почти в темноте – фонарей теперь не зажигают…

Сумерки сгущаются всё быстрее. Под ногами ничего почти не видно. Убрала в опавшую листву собачьи нечистоты, поморщилась, настолько явно ощущение – будто не сапожком, а босой ногой наступила. Горничной Марфуше придется вечером отмывать эту гадость с ее обуви. Да и самой теперь не избавиться от ощущения нечистоты, что скрыта под хрустящей сверху, багряной и торжественной опавшей листвой…

Отчего горничные перестали за хозяйскими собаками убирать? Горы опавших листьев, а под ними… Отчего это дворники перестали мести улицы? Их дворник Карп стал бегать на митинги, отчего и перед их парадной теперь не чисто. И он не один такой. Убирать некому. Все митингуют. Или громят. Или прячутся, чтоб не разгромили.

Кто сказал, что если революция, то в городе можно не убирать?

Шумно… Шумно… Почему в городе стало так шумно? Всё бурлит, кишит. То бегут, то стреляют. Отчего теперь все стреляют? И отчего теперь все простоволосые с криками бегут по улицам, по которым прежде чинно прогуливались пешком?

В пору первой революции ей было четырнадцать. Кинулась к окну, но на их Большой Морской никакой революции видно не было. Хотела на улицу бежать, «революцию смотреть», но вышедшая из кабинета мать осадила:

– Революция – не повод выходить из дома без шляпки!

Пришлось возвращаться за шляпкой, а пока шляпку подобрала, революция далеко от их дома укатилась, только дальние раскаты слышались еще где-то за Николаевским собором.

Многие запреты матери она нарушала и нарушает, а тот, насчет шляпки – никогда!

Теперь на ней шляпка от Дюве, хотя в той части города, и в это время суток, и в этой странной новой жизни более к месту была бы дешевая полушалька, как у Марфуши. Или красная косынка, как у революционерок. Или у них нынче принято и вовсе ходить с непокрытой головой, как та рыжая наглая бестия, хохот которой разносится теперь на всю притихшую улицу?

Рыжая, в принятой в их среде грубой куртке из кожи быка, едет на авто, что с рыком вывернуло из-за угла – она еле успела отскочить, чтобы не попасть под колеса этой революции. Иные революционерки выглядят как нечто бесполое – папироса без мундштука, стрижка, кожанка, оружие. Но Рыжая вполне женщина. Длинные, отливающие не медью, а ржавчиной волосы, как знамя, полощутся на ветру. Из распахнутой кожанки выпирают округлости – бог мой, она не только шляпки, но и корсета не носит!

Патлатый революционер, что с Рыжей в авто, ухватился за одну из округлостей фурии и не отпускает. У всех на виду держится за женскую грудь, как за ручку в конке, а другой притянул Рыжую к себе. И целует ее бесстыдно и страстно. Так и в темноте супружеской спальни не целуют, а уж на улице!

Патлатый в такой же, как Рыжая, тужурке из дурно пахнущей кожи. Его немытые длинные волосы падают на лоб, мешают целоваться. Патлатый то пятерней, то резким взмахом головы откидывает мешающие ему пряди с лица.

Движения словно метрономом вошли у него в размеренную привычку. На раз-и-два-и – отбрасывает падающие на лоб пряди рукой, на три-и-четыре-и приникает своими обветренными губами к губам Рыжей. На раз-и-два-и – взмах головой, даже если прядь упасть еще не успела, всё равно взмах, на три-и-четыре-и – снова к губам. И так до бесконечности.

Рыжая вызывающе хохочет.

– Подстрелить его! Подстрелить!

Куда они едут? Арестовывать? Расстреливать? На митинге голосить? Матросов на погром поднимать? Или просто длинноволосый везет Рыжую в постель? Для нынешних, говорят, все это развлечения одного рода. Арестуют кого-то, наганами станут водить у несчастного человека перед носом, или между ног, возбуждаясь уже не от собственной похоти, а от чужого страха. Поводят-поводят, потом полуживого отпустят, или не отпустят, таким всё едино, и поедут совокупляться. На благо революции. Или прямо в застенке, где расстреливали, совокупляться начнут.

И всё это и есть революция?!

Рыжая. Патлатая. Бесстыжая. С обветренными губами и наганом между ног.

Революция, от которой нужно бежать? Из родного города бежать. Мать и муж приняли решение всем ехать в Крым, чтобы в материном крымском имении переждать смуту. Долее оставаться в волнующемся городе нельзя, а с маленькими девочками и с ней, беременной, и вовсе опасно. А она так хотела, чтобы сын ее родился здесь, в городе ее отца.

Они едут завтра. Вещи уже сложены. Девочки мучительно выбирают, какие из игрушек можно взять. Муж столь же мучительно отбирает книги и предметы для своего научного труда. Саввинька, пятнадцатилетний племянник мужа, рано оставшийся без родителей и живущий в их семье юноша не от мира сего, всё чертит что-то пером и карандашом в своих альбомах, бормочет, как водится, наизусть, целые страницы, и третий сундук уже своими альбомами и книгами забил…

Они едут завтра. А сегодня, дочитав девочкам сказку, она выскользнула из дома и одна в сумерках идет в эту глухую часть Коломны. К прорицательнице. Про ребенка узнать.

Всю свою третью беременность вышагивает по городу, вгоняя всё ожидание в заданный чужими стихами ритм.

Ей двадцать шесть.

Она – Анна.

* * *

– Ждите!

Открыв лишь с третьего звонка дверь, на которой побрякивает китайский колокольчик, и даже не предложив снять шляпку, прорицательница отводит Анну в странного вида комнату.

– Позову. Занята.

И уходит вглубь квартиры.

Всё не так, как представлялось.

Никакой небесной мантии на той, которая допущена в тайны судеб.

Ни тебе мантии, как у звездочетов древности, ни лиловых одежд нынешних любительниц спиритических новшеств, коими какой уж сезон полон тревожный Петербург. Разве что вся в черном.

Прежде Анна в сознательном возрасте не поддавалась ни на одно из мистических увлечений – хватило отроческой глупости, от которой еле оправилась. Столоверчение, явление духов, любовная и политическая магия, привороты на соли и заклятия на крови, вся та фантасмагория, что творилась вокруг трона, пока не убили Распутина, и, говорят, творится теперь.

И слухи… Слухи. Что в Петрограде колдуют теперь все! И как колдуют!

И эта прорицательница – одна из самых! Которую по страшному секрету друг другу передают. И с придыханием о ее таинствах друг другу рассказывают.

Но никаких звездных карт на стенах.

Пропахшая кошками нечистая квартира на окраине Коломны. Две почти беспёрые блеклые канарейки, сообщившие о своем присутствии не пением, а шелестом крыльев, который, к ужасу Анны, вдруг раздается в полной тишине.

Мисочки с остатками засохшей рыбы и мутноватой воды в углу комнаты. При запахе рыбы тошнота подкатывает к горлу, ребенок внутри недовольно ворочается. По овалу миски на воде видны пылинки и ворсинки, насыпавшиеся в поилку несчастных тварей с плащей, шерстяных юбок и брюк посетителей этого странного места, сменявших один другого.

Или с кожаных тужурок?

Окно, на котором теперь сидит белесая канарейка, выходит на освещенную лишь тусклыми окнами ближних домов улицу. Анна подходила к дому по набережной с другой стороны и не видела то, что замечает теперь из окна. На улице возле парадной стоит то самое авто, что чуть не сбило ее несколько минут назад. Рыжей бестии не видно, патлатый революционер нервно курит папиросу, ждет.

В дальней комнате, куда ушла прорицательница, кроме ее голоса слышен еще один, женский, будто надтреснутый. Уж не за пророчеством звезд ли революционерка пожаловать изволила?

Ждать приходится долго. Слов не разобрать. Наконец голоса в дальней комнате стихают. С легким звоном китайского колокольчика хлопает входная дверь. Еще минута, и из окна видно, как Рыжая выбегает из парадного. Что-то говорит патлатому спутнику. Он, привычно откинув со лба прядь волос, рывком усаживает Рыжую на сиденье и толкает в спину сидящего за рулем авто возницу в военной форме без погон – двигай!

Не порадовала астрология революцию.

Порадует ли ее?

– Чем жертвовать будем?

– Что?

Странная хозяйка, спросив день, месяц, год и даже час ее рождения, проводит несколько линий на заранее расчерченных листах тонкой папиросной бумаги.

И, едва взглянув на расчерченное, вопрошает:

– Жертвовать чем будем?

Черная кофта под самое горло. Черная юбка прямого, без излишеств покроя, но с излишне смелым разрезом. Когда хозяйка запрыгивает на высокий, придвинутый к книжным шкафам табурет, становится понятно, что смелый разрез не мужчин соблазнять, а легко взлететь на табурет в поисках нужного тома астрологических атласов.

Не знай Анна, куда пришла, сочла бы дом этот за дешевый притон, а хозяйку за почитательницу морфина или что там ныне принято употреблять. Не похожа на посвященную эта прорицательница. Разве что глаза. У обычных женщин таких глаз не бывает. На земле с такими глазами не прожить.

Хозяйка третий раз повторяет:

– Чем жертвовать будем?

Шелест крыльев безмолвных белесых птиц пугает сильнее, чем жутковатый вопрос.

Взгляд у хозяйки такой, что соврать не получается.

Губы не шевелятся.

– Жертвовать?! – не понимает Анна. Пришла вроде бы не за этим. – Чем угодно. Кроме… – еле слышный шелест ее губ как крыльев канареек.

– …Сына. Сына жаждешь. Льва, – за нее произносит хозяйка.

– Откуда вы… – начинает Анна. И замолкает, чувствуя, что еще миг и от запаха этой рыбы в миске на полу, и от напряжения, и от страха проникновения в тайну судеб, и от испуга, что эта странная женщина так, одним словом, разгадывает ее тайну, она потеряет сознание.

– Ахматовка. Не отрицай, ахматовка, – продолжает хозяйка. – Когда звонила, представилась – Анна Львовна. В сумочке «Подорожник». Ходишь и ворожишь: «*Имя ребенка – Лев, имя матери – Анна. В имени ребенка – гнев. В имени матери – рана…*»

– Откуда вы… – еще раз начинает Анна и замолкает.

Смотрит на женщину, как смотрят в лицо Медузе горгоне. Как смотрят в бездну, падение в которую уже началось…

– Дочь в тебе. Дочку родишь. Дочку. – Не предсказывает – распоряжается судьбами астрологиня.

– Сына хочу. Я должна родить этого сына.

– Тебе о сыне молить нельзя! Твой сын за бездной.

Бездной… Бездна… Без дна…

Бездна, которая засасывает все ее ощущение мира и счастья, или если и не счастья, то хотя бы покоя.

– За бездной. Чтобы его из-за той бездны достать, мир должен рухнуть.

– Пусть рухнет… – в полуобмороке бормочет Анна.

– Мир должен рухнуть. Спроси… у отца спроси… на что разменял он свою душу, когда ему было восемнадцать.

И спрашивать нечего! На что мог разменять свою душу добрейший Дмитрий Дмитриевич в его восемнадцать, когда было это еще до ее рождения, в прошлом веке!

– Впрочем, ты пока не можешь спросить… Пока не можешь.

Странная эта предсказательница… Быть может, зря Анна к ней пришла…

– Сын будет стоить жизни его отцу.

Облик мужа, милого доброго мужа мелькает перед глазами. И исчезает.

– Пусть! – в состоянии почти транса вторит Анна.

Мелькнувший в исчезающем сознании облик мужа кажется чем-то далеким, чем-то бесконечно, несопоставимо менее важным, чем сама надежда на сына. Господь простит. Или не простит?

Голос из той бездны, в которую как в старательно взбитую глубокую перину уже погружается Анна. Еще мгновение, и дверь в эту бездну захлопнется.

– Думай. Ты теперь в скрещении Урана и Плутона. Тебя сейчас видно там, где вершатся судьбы. Можешь просить. Разрешат сына тебе отдать. После бездны.

– Пусть после бездны. Сына хочу. Сына…

Богиня утренней зари

Анна. Крым. Октябрь 1917 года

Но ее сыну не суждено родиться ни в Питере, ни в Крыму.

Родив в октябре третью девочку, Анна вспомнит о словах прорицательницы, что ее сын за бездной.

Но всё это будет месяцем позже, а пока…

*** * ***

Из Петрограда в Крым едут поездом.

Из питерской осени в бархатное южное бабье лето.

Едут, как водится, первым классом. Но не целый вагон из восьми купе, как привыкла ездить мать: купе – ее спальня, купе – для Анны с мужем, купе – для Оли с гувернанткой, купе – для Маши с нянькой, купе – гостиная, купе – столовая, купе – для багажа и одежды, купе – для прислуги. И это если повара, служанки и прочая челядь из питерского дома, без которой и в приморском имении не обойтись, уехали прежде них…

В этот раз без поваров. Скромно. Собирались в последний момент, не досталось билетов, и у них всего-то три купе на семь человек.

Едут долго. Много дольше обычных трех дней.

Днями простаивают на станциях с толпами измученных голодных солдат, беженцев и дезертиров на перронах. Но первые дни смотрели на них только из окна и сетовали, что чай нынче не так хорош, как прежде. А теперь…

– Двигайтесь, дамочка! Двигайтесь! Швыдче! Уплотняйтеся!

На третий день пути в их вагон первого класса набивается толпа – солдатня, матросы, мужики, оборванцы.

Один из них с бульдожьим лицом, муж по форме определил, что фельдфебель, теперь выгоняет гувернантку и девочек из их купе. Разбуженные Оля и Маша в тонких кружевных сорочках напуганы, жмутся к гувернантке.

– Как вы смеете?! – негодует мать, крепче прижимая к себе игрушечного зайца Маши. – Это наши законные места! Согласно купленным билетам!

Найти в этой давке начальника поезда, тем более требовать соблюдения их прав бесполезно. Даже мать, на удивление, это понимает.

– У нас, барыня, согласно купленным билетам, пол в вагоне рухнул! – Мужик небритый, беззубый, по́том от него за версту несет, с мешком за плечами. – До дому ехати всем надобно!

– В третьем классе столько народу набилось, что пол не выдержал, провалился! – суетливо поясняет проводник. Чудо, что он еще не сбежал.

Проводник почти на ухо матери шепчет, уговаривает потерпеть, не злить ворвавшихся:

– В соседнем вагоне первого класса пристрелили пассажира с одиннадцатого места, который не пускал их в свое купе.

Бульдожьего вида фельдфебель своими грязными штанами плюхается на полку, где постелено кружевное белье для Маши, мать едва успевает игрушки девочек из-под его зада выхватить и велеть гувернантке вещи быстро в ее купе переносить.

Мать напряжена – кроме собственных ценностей она везет спрятанные в детских игрушках ценности вдовствующей императрицы Марии Федоровны, которая с марта в Крыму и мало что с собой из Петрограда увезти успела.

Солдаты без погон с винтовками занимают второе их купе – не успевший выйти Савва со своими альбомами и тетрадками остается, зажатый в угол завшивевшими, давно не мывшимися, озлобленными и уставшими людьми.

– Двигайся, гимназия! Учиться будешь опосля! Теперь всем ехати треба!

И из третьего купе их сейчас выгонят – пенсне мужа и шляпки матери, без которых графиня Истомина считает неприличным появляться на людях даже в вагоне поезда, даже в такие времена, – теперь не лучшие аргументы в их пользу. Кому из штурмующих не хватило места в первых двух купе, занятых самозахватом, уже дергают дверь третьего, последнего оставшегося у них, в котором им, шестерым, уже тесно.

Беззубый мужик с мешком за плечами рывком открывает дверь и застывает на пороге. Смотрит на живот Анны, который вопреки нормам приличия уже ни от каких посторонних глаз не укрыть. И взмахом руки останавливает тех, кто напирает на него сзади.

– Назад! Ша! Баба на сносях туточки, вот-вот ро́дит!

И закрывает дверь.

Толпа двигается дальше, штурмовать другие купе и вагоны. А мать сидит бледная, не может выпустить игрушечного медвежонка из рук.

– Не так страшно свое потерять, как чудовищно неприлично потерять императорское, – трагически шепчет мать, теребя плюшевое ухо.

Муж подносит ко рту и убирает обратно нераскуренную папиросу, которую в общем купе с девочками теперь не закурить, и говорит что-то об удивительной несочетаемости кадетских взглядов матери и ее монархического трепета. Мать не отвечает.

Дальше от столиц, ближе к югу солдат и беженцев становится меньше – сходят станция за станцией, и им даже удается вернуть одно из своих купе, только отправляют Савву в уборную «после такого общества как следует мыться и в чистое одеться, а ту одежду выбросить – на нее вши могли перейти».

Но нет больше на станциях прилично одетых крестьян, торгующих едой для пассажиров. А цены на всё, что пока еще продается, ошеломляют даже не скупую и богатую мать.

– Десять рублей за сметану для девочек?! Прошлым летом за такие деньги двух коров в ближнем имении продавали.

Мать, при всей ее светскости и упоенном увлечении политикой, знает цены на коров. Что никак не вяжется с ее внешностью. Но всё это совершенно не интересует Анну.

Ничто в это мгновение не омрачает невесть откуда поселившуюся в Анне радость предчувствия – ни мрачное предсказание прорицательницы, случившееся в ее последний питерский вечер, ни странная дорога через взбаламученную страну, где теперь всё слоями – то мятеж, то покой.

Страх и спокойствие накатывают волнами. То каждая мелочь радует – вкус чудом купленного на станции молока, солнечный отблеск в волосах Машеньки, странные рисунки Саввы, который и в поезде не расстается со своими альбомами и блокнотами. То кажется, им вовек не доехать до приморского имения матери – за окнами поезда разоренные села, неубранные поля, запустение.

Мать с мужем спорят, сколько теперь стране преодолевать столь разрушительные последствия. Мать считает – два года. Муж уверен, вернутся на прежний уровень не ранее 1921-го.

– Три года война. Три года на восстановление – и это только при условии, что смута закончится теперь. Год про запас.

То вдруг снова картинка меняется, и, разглядывая из окна благостные виды юга, впитывающего свое последнее солнце, в осеннем туманном покое Анна поверить не может, что часом ранее они о чем-то тревожились.

О чем можно тревожиться, когда с каждым часом приближается благословенный Крым – вечная сказка ее детства!

Я, девочкой, не ведавшей обид, / всего, что будет контурным наброском, / не в сказочном саду Семирамид / искала свой приют – в тиши форосской. / Я странницей на поиски друзей / отправлена, забыла наставленье, / что мир стабилен, а его смещенье / поддерживает равенство ничьей…

В оставленном ими Петрограде «равенство ничьей» нарушилось. Мир сошел с ума. И теперь, только отперев старый ларчик ее детского мироощущения, можно вернуть покой и в собственную душу, и во весь большой растревоженный мир.

Поезд минует Джанкой, и, рискуя подхватить на сквозняках совершенно излишнюю в ее положении простуду, Анна опускает вагонное окно.

Мама и муж нудно судят о шансах социал-демократов и кадетов в нынешнем правительстве, а она, по-детски выставив в окно руку (пока не видят спящие после обеда дочки, которым она как примерная мама категорически запрещает высовываться из окна), ловит ощущение ветра в ладонь.

И дышит, дышит, дышит.

Впитывает в себя этот ни с чем не сравнимый воздух.

Ребенок в животе шевелится активнее обычного. Тоже чувствует этот воздух.

Так пахнет ее детство. А больше ничто.

Управляющий южным имением Франц Карлович с шофером Никодимом встречает их на станции на большом авто марки «Делоне Бельвиль».

И сразу отчет матери:

– Урожай с двух десятин маслиновой рощи в этот год пятьдесят пудов, хватит для трех пудов масла, сена накошено лишь шестьсот пудов, на двести меньше, чем обычно, но почти столько же, сколько в последние два года – мужики на фронте, рук не хватает.

Скучные хозяйственные подробности Анна не слушает. Машу укачало, спит на руках у гувернантки, да и Олюшка дремлет. А она сама как в первый раз с наслаждением разглядывает по дороге всё вокруг.

Здесь наверху перед перевалом всё больше татарские селения с мечетями, призыв муллы звучит сквозь нагретый солнцем на открытом плато воздух. Христианских церквей и русских деревень меньше.

Почти все, кто работает здесь на полях, внуки бывших крепостных материной бабки, старой княгини Истоминой. Дабы сохранить линию княжеского рода, даже выйдя замуж, мать от бабкиной фамилии не отказалась, взяла двойную, а после смерти мужа его часть фамилии как-то незаметно потерялась. Так и есть она для всех «княгиня Истомина», их «ближнее» к столице имение Истомино, и всё здесь вокруг истоминское.

По пути со станции мать всегда останавливается в одном из селений – то в Кизиловом, то в Орлином, то в Подгорном. На этот раз в селении Верхнем. И девочек непременно велит разбудить и вывести из авто – «на настоящую жизнь посмотреть».

Останавливаются возле покоса. Крестьянине в чистенькой одежде – бабы, мужики, подростки – все косят. Дети, не старше Олюшки, снопы вязать помогают.

– Что, Семён, как урожай?

Мать мужиков по именам знает.

– В энтом годе получшее, чем в прошлом, барыня! – отвечает хромающий мужик, снимая фуражку и пятерней зачесывая свой чуб. – Но братку мово на фронт той весной забрали. Мне за корявой ноги амнистя вышла, а братку забрали! Рук не хватат.

Жена Семёна, которую мать называет Настёной, в светлом платке, из-под которого тяжелые пшеничные косы выбиваются, кланяясь подносит молока. Дешевые красные бусы на шее горят на солнце.

– Парное. Толечки отдоилась, – она кивает в сторону коровы, которая вместе с теленком пасется неподалеку.

Мать, которая обычно ест и пьет только из хрусталя и серебра, принимает глиняный кувшин из рук крестьянки и, к изумлению Анны, с удовольствием пьет молоко.

– Сын, смотрю, уже до помощника дорос? Игнат он у тебя, так ведь?

Мать и сына мужицкого знает.

– Игнатий, барыня София Еоргивна! Игнатий, средний будет. Маруська старша́я, младшие Ляксей да Ольга, погодки, вона возле стога сидят!

Совсем маленькие дети – один сидит, другой и сидеть еще не умеет, на траве возле стога сами себе предоставлены.

Семён довольно улыбается.

– Игнатушка, подь сюда! Барыня тябя, шалопая, помнить изволят!

Мальчишка лет десяти, светловолосый, чумазый, идет к ним навстречу. В добротных, не по погоде тёплых штанах, но без рубашки. Олюшка, ему почти ровесница, стыдливо отворачивается – мальчик без рубашки, как неприлично! Лучше отвернуться самой и Машу в другую сторону повернуть на теленочка смотреть, пока гувернантка такого неприличия, что они смотрят на голого мальчика, не заметила.

Едва стоящий на ножках теленок тычется в коровье вымя, корова лениво жует последнюю осеннюю траву, вдруг пошедшую в рост поверх старой, погоревшей на летнем солнцепеке. Воспитанные барышни Данилины разглядывают теленка, шепотом решая друг с другом, что же неприличнее – вымя коровы или голый по пояс мальчик Игнат, за что гувернантка строже корить будет?

Вместе с Игнатом подходит девочка постарше. Синее в белый горох ситцевое платье схвачено широким не по размеру, явно мужским ремнем. Прядь волос выбилась из-под белого платка, который, как у всех баб и девок, повязан у нее на голове. Девочка то и дело дует на выбившуюся из-под платка непослушную прядь, отгоняя ее с глаз. В одной руке грабли, которыми скошенное отцом и матерью сено сметала, другая уперта в бок. Просто Маленькая Разбойница из сказки Андерсена, хотя сама она вряд ли эту сказку читала.

– Маруська, наша старша́я, – представляет «разбойницу» Семён. И, заметив интерес девочек к корове и теленку, добавляет: – А то Зорька наша приплод не ко времени принесла. Куды в зиму ро́дить?! Так на те! Телочка, Лушка. Малая ищо, второй день тольки.

Мальчик Игнат тем временем подходит к Истоминой, зачесав светлые вихры пятерней, в пояс кланяется.

– Премного благодарны.

Разбойница Маруська стоит, где стояла, в той же позе «руки в боки», грабли как пики— ее подходить к барыне не приглашали.

– За что же ты столь премного благодарен, Игнатий?! – улыбается мать.

Мальчик оборачивается на отца, ждать ли отцовой затрещины – опять что-то не то сказал? Но отец подхватывает.

– Благодарны премного, как не подняли плату за землю. И выплату на апосля урожая отложить дозволили. Кланяйся, Игнатий, ишо раз барыне Софии Еоргивне, кланяйся. И семенами на прошлогодние пары с весны оделить изволили.

– Это всё Франц Карлович! – Мать не хочет приписывать себе заслуги управляющего ее крымским имением немца Штоха. – Пары#, семена, новые механизмы и прочие эксперименты – всё он. А отложенная плата, Семён, это я. Добра-то барыня, добра, а платить всё же придется.

– Завсегда придется. Таки урожай продадим теперяча, и всё сполна оплатим.

– Помогай отцу, Игнатий! Ты теперь второй в семье мужик, так ведь, Семен?

– Всё так, барыня, всё так! Братка на фронте, мальцы егойные и того меньше. Игнатий покаместь за старшóго.

Со стороны села уже бегут другие мужики, прослышавшие, что не только немец-управляющий, но и сама хозяйка проездом остановились. И мать снова зависает в разговоре с каким-то Панкратом, которого Франц Карлович старостой назначил. Анна отходит в сторону пасущейся коровы с теленком.

Лубочная пастораль – добрая барыня, довольные крестьяне, сбор урожая, только что родившийся теленок, точнее, телочка Лушка! Уставшая от долгой дороги в поезде и тряски в авто Анна сама не понимает, на что злится.

Мальчик Олюшкиных лет и сестра его не ходят в школу, наравне со взрослыми в поле с отцом надрываются, и за это ее матери премного благодарны! А телочка эта подрастет, и сдерут с нее кожу, сделают куртку-кожанку для такого же патлатого комиссара с немытой головой и его рыжей бестии, каких видела в Коломне по дороге к прорицательнице.

Но сил размышлять о неравноправии и жестокости мира нет. Растрясло ее в дороге. Скорее в имение хочется!

Остается недолго. Верхняя дорога, идущая по этим татарским, караимским, греческим и русским селеньям, заканчивается. Между ней и нижней дорогой виноградники, сады. И уже видно море!

* * *

По приезду она первым делом идет, почти бежит на «свой утес». Становится на краю. Расправляет руки как крылья.

Море внизу прозрачное до бесконечности. И солнце, какого в Петрограде в это время года уже нет и не может быть.

Предзакатное солнце играет в ресницах, чуть прищуришь глаза, и сонм мелких радуг во все стороны. Прозрачная бескрайность манит, так бы расправила руки и полетела!

– Прыгнешь? – Низкий мужской голос возвращает ее в реальность.

Оборачивается.

Павел, их конюх и сын старого конюха Демида, который когда-то учил ее ездить верхом.

– Хотел сказать, прыгнете, Анна Львовна… Но сам уже вижу… – замечает ее большой живот Павел.

В детстве она сбегала от гувернанток, и они вместе с этого утеса на спор вниз прыгали.

Анна улыбается. Словно с Павлом к ней вернулась частичка детства. И того полета.

– Прыгну, Пашка, обязательно прыгну. Только, сам понимаешь, – она кладет руки на живот, – не теперь.

Жизнь быстро налаживается по обычному распорядку. Утром занятия для девочек. Оле предстоит сдавать экзамен в Ялтинской гимназии, чтобы не отстать, когда в Петроград вернутся, и теперь нужно много учиться. С Машей дома занимаются языками и музыкой.

После обеда девочки катаются на пони. Особая татарская порода с их красивым аллюром, приспособленная более для поездок по горам, чем для рыси на гладких дорогах, удивительно подходит для дочек. Олю уже пробуют сажать и на взрослого жеребца. Маша отставать не хочет,

требует лошадку для себя, но ей еще рано. Ее катает на взрослой лошади, посадив перед собой, грум-татарин в черной круглой шапочке и с длинными усами.

Анне самой хочется снова верхом и горы! Ее породистый мерин Агат бьет копытом в конюшне. По утрам она приходит, гладит его по загривку, кормит морковкой и яблоками с руки и просит ее подождать.

– Еще немного и как прежде! В горы! И вдоль моря! И по мелкой гальке, где ты сможешь бежать! – Закрывает засов стойла, просит конюха: – Ты уж, Павел, выезжай его!

– Каждый день, Анна Львовна! Каждый день. В хорошей форме вас дождется.

Девочки подружились с Сашей и Шурой, детьми Павла. Мальчик Саша, Шура – девочка. Мать такой дружбой недовольна, но муж приводит теще ее же слова, сказанные в селении Верхнем, что девочки должны «видеть настоящую жизнь». И напоминает про какого-то «Гаврю из детства». Мать улыбается и машет рукой. Надо бы спросить, что за Гавря, но теперь не до этого.

Через несколько дней такой «дружбы» Олюшка приходит и спрашивает, почему они живут в огромном доме и у них много прислуги, а Саша и Шура с отцом, матерью и бабкой в маленькой комнатке их домика для прислуги, и всё они делают сами? После чего и муж уже не возражает против ограничений. И только Анна, помня, как сама с Пашкой и его сестрой Нюрой на деревьях от своих нянек пряталась, шепотом говорит гувернантке, что с конюховыми детьми их девочкам играть можно, но только не на глазах у ее матери.

Мать, преисполненная чувства собственной значимости, сразу по приезду везет вдовствующей императрице Марии Федоровне царские ценности, которые им удалось вывезти из Петрограда и через столько препятствий довезти в сохранности.

Возвращается расстроенная. В Ай-Тодор и Дюльбер, где находятся члены императорской фамилии, никого кроме ближайших лиц и свиты не пускают. Мать доехала до Сосновой рощи молодых Юсуповых и передала всё Ирине Юсуповой, внучке вдовствующей императрицы.

Пересказывает слова Ирины Александровны о «чудовищном!». О майском обыске в доме и в спальне Ее Императорского Величества! По приказу Временного правительства в Ай-Тодор, имение великого князя Александра Михайловича, где жила вдовствующая императрица, в пять утра вломились матросы, посланные Севастопольским Советом. Приставили револьвер к голове великого князя, искали оружие. Нашли дюжину старых винчестеров, о которых все и думать забыли.

– У Ее Величества в спальне переворошили все простыни, отобрали письма и Библию, с которой она не расставалась с тех пор, как покинула Данию. В полдень вернулись ее арестовывать за оскорбление Временного правительства. Великий князь еле уговорил их главаря, что никакого оскорбления Ее Величество не имела в виду, и что если к даме ее почтенного возраста в спальню в пять утра врываются матросы, то, понятное дело, она может быть недовольна.

– А Ливадию тем временем Керенский отдал Брешко-Брешковской! – произносит муж.

– Представить себе не могу, что она теперь делает в кабинете императора и спальне императрицы! – недовольно отзывается мать, даром, что во Временном правительстве у самой столько друзей и соратников – и владелица расположенной неподалеку Гаспры графиня Софья Владимировна Панина, и товарищ министра народного просвещения, их сосед по Большой Морской, Владимир Дмитриевич Набоков, ныне управляющий делами Временного правительства.

Товарищи товарищами, но в матери, при всем ее пристрастии к демократическим идеям и при всяческой поддержке кадетов, трепетное отношение к императорской фамилии сохраняется.

– Король Георг Пятый писал вдовствующей императрице о своем намерении принять Николая и всю его семью. Но глава британского правительства Ллойд Джордж воспротивился

этому. Король Испании предложил пристанище. Но вдовствующая императрица уверена, что царская семья не должна покидать свою страну.

Еще через день к ним приезжает и сама Ирина Александровна Юсупова, внучка вдовствующей императрицы. Анна знает ее с детства – вместе проказничали во время пикников в имении ее отца в Мисхоре.

– Можете себе представить, в марте крестьяне поздравляли младших великих князей с революцией! Жители соседних деревень пришли к ним с красными флагами, «Марсельезой» и поздравлениями. Гувернер вывел мальчиков на балкон, и они были очень напуганы.

– И что крестьяне?! – недоумевает мать.

– Выслушали пламенную речь гувернера о свободах, поздравили и обратно с «Марсельезой» ушли. Но дальше…

Чай в чашке гостьи остывает. Юсупова и не притронулась к нему.

– Но после вдовствующую императрицу Марию Федоровну и великих князей свезли в Дюльбер Петра Николаевича и держали там под охраной.

– И Александра Михайловича?

– Да, и отца тоже. В усадьбе расположилось двадцать пять матросов и солдат. Страшные хамы. Комиссар их объявил тогда отцу, что все они под арестом, видеть им дозволено только меня, детских гувернеров, врачей и поставщиков. В иные дни этот список сокращали и вовсе до одной меня.

– Какое неприличие! – восклицает мать.

– Мы с мужем решили: нужно ехать в Петроград к Керенскому, – продолжает Юсупова. – Поехали. Ждали аудиенции целый месяц. В Зимнем встретила наших старых служителей, такая была радость. Представляете, Керенский занял кабинет прадедушки!

– Прадедушкой великая княгиня Ирина Александровна называет императора Александра Второго, – бормочет Савва. Девочек отправили с гувернанткой гулять, а не замеченный никем племянник мужа остался в углу за своим столиком со странными рисунками и бабочками.

– Керенский вошел – сама любезность! Предложил сесть, и я заняла кресло прадедушки, а ему пришлось пристроиться на кресле гостя.

– Отличный ход! – горячо одобряет мать.

– После моего рассказа о положении дел Керенский хотел было увильнуть, но мы с Феликсом не дали. В конце концов ему пришлось дать обещание вмешаться, после чего положение бабушки и родителей несколько улучшилось. – Юсупова делает глоток почти остывшего чая и продолжает: – Разве что явились следователи по делу о кражах в Ай-Тодоре во время майского обыска и, представьте себе, предложили бабушке подписать протокол «бывшая императрица»!

– У российских императриц приставки «экс» не бывает, – опять совершенно не вовремя подает голос всезнающий Савва. – Сын ее от титула отрекся, другой сын титул не принял, но сама она же не отрекалась.

Мать кидает на племянника мужа испепеляющие взгляды. Но Ирина Александровна улыбается.

– Вы совершенно правы, молодой человек! Так бабушка им сказала: «Меня короновали, коронованной и остаюсь!» Поставила подпись «Вдова императора Александра III». Пришлось им смириться. – И продолжает рассказ о том, что происходит все эти месяцы с членами царской семьи здесь, в Крыму. – С тех пор арестовывать приходили неоднократно. То нас самих, то моих родителей, то родителей Феликса. То большевики, то головорезы, которых даже большевики боятся.

Княгиня Юсупова вздрагивает. Даже чашка в руке дрожит.

– Вломились снова давеча. Лица скотские, на грязных руках бриллиантовые кольца и браслеты, явно где-то награбленные. Потребовали с Феликсом Феликсовичем говорить. Муж налил им вина. Пили много. Спросили, он ли убил Распутина, муж ответил, что он. Тогда выпили за его здоровье и заявили, что ему и его семье ничего не угрожает.

– Чудовищно!

Разговор заходит о ценностях, оставшихся в питерских домах.

– Весной Феликсу удалось вывезти из дома на Мойке наших рембрандтов – «Женщину с веером» и «Мужчину в широкополой шляпе». Достал из рамы, скатал в рулон и вез в вагоне. Даже когда набивались солдаты, рулоном они не интересовались, больше едой и деньгами.

Мать отвечает, что и во время их пути такое же было.

– Нашего Вермеера и портрет бабушки Истоминой Брюллова мы так же вывезли.

– В начале октября Феликс поехал в Петроград еще раз. Но драгоценности из дома на Мойке вывезти не успел. И по распоряжению Временного правительства их реквизировали и отправили в Москву. – Юсупова отставляет недопитую чашку чая на столик. – Тем значительнее для нас то, что смогли вывезти для бабушки вы, Софья Георгиевна, и вы, Анна Львовна! И это кольцо… – Она достает из изящного ридикюля кольцо с прозрачным желтым камнем. – …При царском дворе с семнадцатого века. Петр Потёмкин некогда, еще при царе Алексее Михайловиче, его привез из Испании, где был послом при Карле II, а по сути, при его матери, Марианне Австрийской. – Протягивает кольцо матери Анны. – В благодарность бабушка просит принять.

Анна выходит на балкон. Ребенок в животе отчаянно бунтует.

Всё будто не с ней. Всё – как иная реальность.

Обыски в спальне императрицы. Крестьяне, поздравляющие маленьких великих князей с революцией. Дуло пистолета у головы великого князя. Кольцо семнадцатого века, а, может, и древнее, на руке матери.

Всё где-то далеко, не с ней. А с ней только море и этот воздух.

И этот ребенок в животе.

Тогда Анна еще надеется, что это сын.

* * *

Но это не сын.

Здесь, в увядающем прекрасном Крыму конца октября 1917 года в мир приходит ее третья дочка, Ирочка.

В этот раз приходится рожать не в клинике Отта на Васильевском, где родились Оля и Маша. Как только начинаются схватки, муж с шофером Никодимом на материнском авто везет ее в Севастополь «к Бронштейну», с которым договорено заранее.

Дочка так спешит в этот мир, что лучшему на полуострове акушеру и делать ничего не приходится. Его медицинская сестра Дора Абрамовна только успевает подставить руки и девочку принять.

– Стремительные роды. Торопится скорее в мир ваша красавица, – констатирует факт Бронштейн, записывая в журнале: «*25 октября 1917 года 4 часа по полудню Данилина Анна Львовна. Девочка. 3 килограмма 50 граммов весу, 52 сантиметра росту. Роженица и младенец чувствуют себя хорошо*».

Хотят крестить дочку в Форосе в церкви Воскресения Господня, но мать отчего-то настаивает везти в Свято-Успенский монастырь между Бахчисараем и Чуфут-Кале.

Везут.

И только на крестинах, дав третьей девочке имя в честь своей подруги Иры Тенишевой, с которой близко сошлась всё в той же клинике Отта на Васильевском, когда они с разницей

в несколько часов Анна родила Олю, а Ирина свою дочку, тоже Иру[1], Анна понимает – три сестры!

Ольга, Маша, Ирина.

Только теперь не «в Москву, в Москву!», а «в Петербург!» – называть Петроградом свой город она за три года войны так и не привыкла.

Еще до рождения Ирочки находят в Кореизе кормилицу. Но через пару дней после родов и первых кормежек, ровно после докатившегося известия об очередной революции, грудастая бывшая работница заявляет об угнетении:

– Теперяча равенства! – И «уходит в революцию». И больше не возвращается.

Ирочка, пугая сестер, орет до судорог, до конвульсий. И вдруг резко замолкает. Анне кажется, она умерла.

Идет четвертый день после родов. В туго перевязанной груди Анны, судя по двум прошлым разам, уже должно было пропасть молоко.

Ирочка истошно орет.

Дмитрий Дмитриевич с самого утра едет в Ялту на поиски новой кормилицы. Горничная Марфуша бежит за коровьим молоком, уверяя, что его можно давать новорожденным пополам с водой.

– Оставшихся без матери телят так выкармливают.

Мать настаивает, что младенцу невозможно давать коровье, ее внучка не теленок, и посылает работника Макара в экипаже с запиской в Севастополь к Бронштейну в поисках подтверждения ее истины.

У Анны разрывается туго перетянутая грудь от перегоревшего молока и разрывается голова от доносящегося из детской комнаты дочкиного крика.

«…Оставшихся без матери так выкармливают…» Но ее дочка с матерью!

И только старая нянька Никитична берет кричащую девочку на руки, несет в спальню Анны и закрывает за собой дверь.

Анна испуганно глядит на сморщенный орущий комочек, не понимая, что теперь делать.

– Не боись, Аннушка! Бабоньки кормют, выкормишь и ты!

Никитична расстегивает бесконечные пуговицы на платье Анны – на юге, да еще после родов, корсеты позволительно не надевать.

– Платья с пуговицами наперед пошить придется.

Нянька разбинтовывает туго затянутую Дорой Абрамовной грудь Анны и прикладывает кричащую Иришку.

– Авось, не все ишо перегорело.

Дочка жадно хватает сухими губками сосок, Анна вскрикивает.

С силой, невесть откуда взявшейся в измученном от крика крошечном тельце, дочка принимается сосать почти опустевшую грудь, время от времени разочарованно выплевывая сосок, начиная снова орать, но через секунду принимаясь истово сосать снова.

– Ты дави, вот так вот, дитятко, сама дави! Помогай ей! Молочко-то и придет, – показывает нянька Никитична.

Анна давит на грудь, силясь помочь ребенку получить положенное.

Но молока нет.

Нянька приносит медный таз из кухни, наливает горячей воды, велит Анне опустить ноги. Приносит грецких орехов, молока с медом.

– Ешь! И терпи!

[1] *Афанасьева Е.* Колодец в небо. М.: «Захаров», 2006 г.

Пять долгих, бесконечно долгих часов Иринушка орет, сосет, обиженно выплевывает пустую грудь. Нянька то и дело гоняет Марфушу за новой порцией кипятка, и Анна, опустив ноги в таз с водой такой горячей, что едва ноги терпят, давит и давит то одну, то другую грудь, мысленно и вслух молит Господа простить, что просила «неположенного» сына, а не эту девочку.

Молится о прощении и давит грудь. Молится и давит.

И тормошит девочку, которая уже почти сдается от бессилия.

Молится. И давит. И тормошит. Молится и давит. И давит. И давит.

Пока, вернувшийся из Ялты ни с чем – не нашлось в обезумевшем от революций городе кормилицы – Дмитрий Дмитриевич не застает в спальне жены почти идиллию – уснувшая в кресле Анна с уснувшей у нее на руках сытой Иринушкой, и во сне не выпускавшей изо рта материнскую грудь. Всю налитую. Но почти фиолетовую от проступивших синяков.

Пришло молоко, пришло!

Кормление ребенка неожиданно оказывается невиданным доселе наслаждением.

С детства наученная, что это дело кормилиц, мучавшаяся после двух первых родов от жгучей боли и ощущения, что ее разорвет изнутри от перегорающего молока, теперь Анна словно распускает тугую шнуровку корсета. И делает вдох. Наполняясь неведомой прежде силой. И переливая эту силу в крошечную дочку.

Разглядывает Ирочку, как не разглядывала первых двух девочек. Тех родила, отдала нянькам и кормилицам, и дальше их дело. А теперь… Теперь все ее собственное, родное.

Вот незаросший родничок пульсирует на голове, такой беззащитный.

Вот малышка смешно ухватилась за ее палец.

Вот приоткрыла один глаз и подглядывает за матерью – наелась, но хитрит…

Анна разглядывает девочку. И разглядывает собственную грудь.

Прежде ей в голову не приходило смотреть на собственную грудь. Даже наедине с собой. А уж с кем-то, даже с мужем, тем более. Теперь же она разглядывает налитую жизнью грудь, которая способна такие неведомые доселе ощущения дарить. Не только ребенку, но и ей.

Кормление дочки оказывается наслаждением более острым, чем супружеские ласки. Каждый раз Анна ждет положенного часа с не меньшим нетерпением, чем голодный ребенок, а после даже начинает нарушать неведомо кем установленный график кормлений и давать девочке грудь, когда та просит.

И не понимает, почему ее прежде лишали такого законного счастья?!

Не случись бунт кормилицы в самое неподходящее время, когда новую найти не так просто, она этого изумительного чувства никогда бы не узнала.

Чего еще ее лишили в жизни?! А она об этом не знает просто потому, что с детства как воспитанная девочка усвоила, что «так положено». Положено и всё! И не задала вопроса – кем положено. И почему?

Погрузившись в неожиданно приятные материнские хлопоты, Анна удивляется, когда слышит из уст матери «по пяти рублей за фунт масла, по два – за десяток яиц, по четыре-пять – за курицу, утку, по шести – за фунт картофеля».

Не ослышалась ли? Мать, считающая рубли на провизию – это не укладывается в голове! При истоминском состоянии она и тысячи на картины и бриллианты никогда не считала, а теперь…

Мать возбужденно обсуждает с мужем погромы базаров и лавок, винный бунт в Феодосии.

– Семьдесят пять тысяч вёдер отменного вина вылить в море!

– Но как иначе остановить пьяные погромы? – разводит руками муж.

Анна не понимает, о чем это они. Странные слова «советы», «бунты», «погромы», долетевшие вслед за ними из дрожащего в лихорадке Питера, на фоне этого огромного и чистого крымского неба кажутся не чем иным, как кляксой на картине. Так вечно что-то рисующий пером посреди своих путающихся непонятных формул и строчек Савва то и дело сажает кляксы там, где можно было бы разглядеть хоть странноватый, но все ж таки пейзаж.

Осень в здесь, в крымском имении, совсем другая.

В Питере давно пронизывающий ветер, холодный дождь с бьющими по лицу первыми осколками снега. Здесь даже не осень, а предосенье, где цвет сафьяна смешан с последними запахами лета.

«В Тессели тишина на ветке ели висит, сорвать ее не просит. Мы даже оглянуться не успели, а из-за гор спустилась осень…», – писала она в свои пятнадцать.

Сквозь весь этот багрянец, который на деле вовсе и не цвет, а растение, глянешь вдаль – и замрешь.

Будто мир замер, выключился, остановился. И время, быстробегущее, вечно спешащее время, кто-то выключил.

Нет в вечности ни минут, ни секунд. И часов тоже нет.

«Готика крымских скал / Вместо короны на детство. / Непостижимо наследство / Солнца империал…»

Только ты и этот пылающий золотом империал солнца.

И складывающиеся в фату твоей мечты облака, пронизанные мелкими стежками вездесущих чаек.

И готика крымских скал, вычерчивающая в предвечернем небе стрелы, подобные контурам великих соборов.

…Дан тебе вечный город. / Твой ближних гор Рим. / Как подобающе горд он. / Но покоряем. Горим / Вместе желанием таинств. / На портике склона колюч / Репейника башенный ключ / в руку – дворец обитаем…

Строки как прелюдия жизни.

Всё эскиз. Всё набросок…

Строки…

Легкие, стремительные, словно принесенные на крыльях птиц. Возникающие из ниоткуда – из этого вечера, из этого ощущения разбега, из этого перечеркнутого полетом чаек неба.

Пунктир букв на бумаге сливается с пунктиром птиц в небе, а она, юная Анна, попав в ворожащий, колдующий, пугающий ритм, пишет и пишет, примостив на уступе скалы смятый лист, стачивая о твердую, проступающую сквозь бумагу скалу грифель карандаша.

И не успевает понять – хорошо или плохо всё, что она пишет.

И не успевает задаться вечно терзающим ее вопросом – зачем?

Зачем все эти муки и ранения истекающей стихами ее маленькой души, если уже есть Ахматова, есть Цветаева, есть Блок, Гумилёв есть?

А есть ли она, Анна, еще неизвестно. Зачем писать еще и ей?

Но в этом ливне строк задуматься об их ценности Анна не успевает. Разве что записать.

Карандаш обломан, в наспех вырванном из ученической тетради листке давно не осталось места, а строки все бегут, сыплются, льются на нее с неба сплошным потоком. И она, словно сумасшедшая стенографистка, силится не упустить ни слова из продиктованного ей свыше.

…Если нет сомнений среди дня / Полуночная стенографистка / Я пишу истории дождя…

Не упустить… уловить… сохранить… сохранить… сохранить?

Но можно ли сохранить поток света?

Можно ли приколотить к тетрадному листу ритм этого неба, этого моря, этой жизни?

Не равносильно ли обреченное отчаянное стремление попытке прикнопить к листу солнечный свет? Или бабочку, которых так много на крымских отрогах, и которых ловит теперь Савва. Прикнопишь на бумагу, свет исчезнет, бабочка умрет. И **в**место полета лишь пустая кнопка и высохшая тушка.

Анна смотрит на коллекцию Саввы как смотрят на растаявший у тебя на глазах солнечный луч – был свет, и нет. Был полет крыльев этой бабочки, и нет. Приколотое тельце осталось, а полет исчез, испарился, весь вышел.

Так и из нее, как из приколотой к листу бабочки, после стольких лет приличной, «как подобает» жизни вышел свет. Полет исчез.

Стихи как дети, и дети как стихи.

Сначала мы молимся, чтобы они были – всё равно какие, хорошие, плохие, непонятные, разные. Только бы были! Только бы тебе было суждено это рождение – ребенка ли, строфы ли.

Сначала мы молимся, чтобы они были. И только потом начинаем понимать, что хорошие чужие лучше своих плохих. Или никаких.

Та девочка, в ворожбе крымского заката начинавшая понимать про стихи, еще ничего не знает про детей.

Про детей знает другая, бредущая теперь берегом осеннего моря.

И между ними нет связи.

Детям и стихам в ней одной не поместиться.

Чтобы случились дети, надо было забыть стихи. Укрыть свою душу от их боли, свою голову от их ливня. А вместе с болью и стихами запереть возможность летать, как прежде отчаянно и смело летала она с высокого утеса в воду.

Чтобы выжить, нужно было разучиться летать.

И она разучилась.

И жила.

Долго. Целых десять лет. Старательно вняв увериниям матери, что она не Ахматова, так зачем же душу рвать – пациентов психиатрических клиник и без нее хватает.

В какой-то миг ее словно выключили. Дописав с рождением старшей дочери последние строфы («*…остальное добавит ей ночь – дочь…*»), она не написала больше ни строки. Поменяла стихи на детей.

Она стала мамой. Рожала девочек. Сама заплетала им на ночь косички. И, казалось, нисколько таким положением не тяготилась. Свое ощущение полета она потеряла. Выбросила. И стала как все ходить по земле.

И ходила. Пока теперь, в октябре 1917-го, снова не оказалась на той крымской скале, с которой в юности летала вниз, ловя слившееся воедино ощущение страха и восторга, счастья и испуга, боли и радости.

На другой день после приезда из Петрограда снова дошла до «своей» скалы – и сама испугалась нараставшего в ней желания полететь. Ребенок, который вскоре должен был родиться, был не лучшим компаньоном для подобного рода прыжков.

Проснувшееся ощущение свободы и полета напугало – неужели снова мучиться, как прежде?! И обрадовало – неужели, как прежде – летать?!

*** * ***

В середине ноября приезжают из столицы их питерские соседи по Большой Морской Набоковы – Елена Ивановна с детьми. Вслед за ними подруга матери Аглая Сергеевна с одним из двух своих сыновей-близнецов Антоном с плохо подходящей им греческой фамилией Константиниди.

Аглая некогда училась с матерью в Смольном институте, бесприданницей рано вышла замуж за человека много ее старше, родила близнецов и вскоре осталась вдовой, крайне ограниченной в средствах. Оставшегося от мужа едва хватало на скудное пропитание. Оттого Аглая с сыновьями, по сути, стала приживалкой при богатой подруге. Не было ни поездок в имения, ни праздников, ни детских маскарадов, ни театров, чтобы близнецы Константиниди – Антон и Николай – не проводили время вместе с Анной.

Мальчики, немногим младше самой Анны, выросли на ее глазах, но даже после этого умудрялись подшучивать над ней, представляясь один другим. Так и продолжалось пока Николай не подался на флот, и форма отличила его от брата, вольного поэта. Впрочем, надень и теперь Антон форму Николая, она не узнает, кто из них кто. Николай жестче. Антон мягче. С Антоном она больше говорит о поэзии, с Николаем больше мать говорит о политике и армии.

Набоковы и Константиниди приезжают на один из обедов, которые мать, как и прежде, дает по четвергам. За Набоковыми увязывается и Ирина Любинская, у ее мужа имение неподалеку в Алупке, но сам муж давно в Швейцарии.

Набокова и Константиниди рассказывают про новый переворот в Петрограде, случившийся уже после того, как Анна с семьей счастливо успели уехать.

– Второй за этот несчастный год! В октябре двадцать пятого, – тяжело вздыхает Елена Ивановна Набокова.

Переворот случился ровно в день и час рождения Иринушки, высчитывает Анна.

– Началось все с залпа на одном из крейсеров, стоявших на Неве около Английской набережной, – продолжает свой рассказ Набокова.

– Позор для российского флота. Несмываемый позор.

Николай Константиниди, служит на Черноморском флоте, на сутки вырвался из Севастополя в увольнение увидеться с братом и матерью и теперь не может сдержать возмущения. Любинская тем временем не сводит с него глаз, проводит рукой около собственного декольте, облизывает пухлые губы. Анне от этого неловко – при живом-то муже!

Николай то ли не замечает томных взглядов женщины, то ли как порядочный человек делает вид, что не замечает. Пускается в рассуждения о плачевном состоянии дел на флоте после прихода комиссаров на каждый из кораблей.

– Не место политическим комиссарам на военных кораблях! Без комиссаров такого не могло бы случиться. В страшном сне не приснится – российский крейсер стреляет в центре российской столицы!

– Стреляли холостым, – бубнит Савва в своем углу. Вечно Савва всё знает. Откуда?

– Даже если и холостым залпом! – кипятится Константиниди.

Но Савва уже снова с Володей Набоковым за столиком в углу разглядывает бесконечные альбомы с бабочками, которых племянник мужа ловит в округе.

Елена Ивановна в волнении. Муж ее, видный деятель кадетской партии Владимир Дмитриевич Набоков, вынужден оставаться в Петрограде как член Всероссийской комиссии по выборам в Учредительное собрание.

Уже за чаем Набокова вполголоса рассказывает матери, что из всего состояния смогла вывезти лишь некоторые драгоценности в коробочках с туалетным тальком. Мать выразительно смотрит на Анну – это же она в начале осени не хотела уезжать! Если бы они по настоянию матери на исходе сентября не выехали из Петрограда, то и свои сбережения, и драгоценности могли бы не вывезти.

Но они вывезли! И не только свои! Но и куда более значимые. О чем теперь напоминает старинное кольцо с желтым камнем на пальце матери.

Анна в политические споры не вступает. Скучно. И теперь сидит в углу с двумя подростками Саввой и Володей Набоковым. Олю и Машу по малолетству к взрослым гостям еще не пускают. При таком раскладе два мальчика кажутся ей лучшей компанией.

Володя окончил школу, но не успел уехать в университет. Он раздосадован.

– Приехали, когда сезон бабочек позади! Даже Савве удалось уникальные экземпляры найти, а я опоздал!

– Будет новый сезон, – возражает Савва.

– До нового сезона еще больше полугода! – Володя категоричен, как все подростки. – Смута через месяц-другой кончится, мне нужно будет ехать в Кембридж, и снова для крымских бабочек придется не сезон!

За «взрослым» столом тоска.

Муж Дмитрий Дмитриевич сетует, что снова революция и полная неразбериха.

– Двадцать шесть политических партий и движений только в Крыму! До добра Россию это не доведет!

– Ялтинский Совет петроградский переворот кучки анархистов во главе с Лениным и Зиновьевым не поддержал!

Антон Константиниди успокаивает брата, который настаивает на их с матерью переезде.

– Нам ничто не угрожает.

Мать Анны княгиня Истомина на стороне Николая. Николай матери всегда нравился и нравится. В отличие от его близнеца Антона. Писатель Антон по материнскому разумению – не от мира сего. Как и Савва. Как и она, Анна. А Николай – настоящий, офицер, твердо стоит на земле!

– Комфлота ваш новый Немитц слаб оказался! – обсуждает с Николаем дела флота мать. – Не чета предшественнику! Даром, что тёзка! То ли дело первый Александр Васильевич командующим был!

Прежний командующий Александр Васильевич Колчак с женой Софьей Федоровной и сыном Славушкой, годом младше их Олюшки, в прошлые годы частенько приезжал на обеды к матери. Нового Александра Васильевича Немитца мать не приглашает.

Николай Константиниди с матерью согласен. Всегда. За что она его и любит.

– Немитц приказал поддержать меньшевистско-эсеровские Советы, объявившие о взятии власти в Севастополе!

– Чем Советы поддерживать, лучше бы порядок на флоте наводил. Сплошной бардак!

– Офицеров третируют! Такого при первом Александре Васильевиче, при Колчаке, быть не могло!

Гул в гостиной нарастает.

Гул… Гул…

Каждый о важном. И каждый о своем.

И только Анна, будто опомнившись, переспрашивает:

– Так с какого крейсера был дан залп?

Никто не слышит ее.

– С какого крейсера?! – Повышает голос едва ли не до крика, чего с ней никогда не бывало.

Мать недовольно косится на нее, оборачивается к Набоковой с извиняющимся жестом, мол, дочь моя только после родов, сами понимаете, Елена Ивановна, всё бывает.

– С «Авроры».

Всезнающий Савва отвечает, не отрываясь о бабочек. Никто не обращает внимания на его ответ, все заняты. И только Анна едва слышно повторяет и повторяет:

– С «Авроры»…

С «Авроры»!

С крейсера, на котором плавал ее отец, когда переводчиком служил в японскую войну.

В Цусимском сражении «Аврора» была подбита, отец ранен. Крейсер длительно ремонтировали на Филиппинах, отца лечили в Маниле. Тропический климат, влажность, непривычная для северного человека жара, некомпетентность местных врачей полному выздоровлению не способствовали. После «Авроры» папа прожил два года. И умер от ран.

С тех пор имя богини утренней зари для нее, Анны, синоним надвигающейся беды. Бездны.

На премьере «Спящей красавицы» в Мариинском театре, когда прелестная танцовщица, изображающая богиню с тем же, что у крейсера, именем, начала свою сольную партию, Анна опрометью кинулась из зала. Перед глазами была не юная балерина, а закованный в броню погубивший отца военный корабль.

Ночью во сне всё смешивается, и уже не девушка, а крейсер выделывает на сцене все эти па, и, вопреки либретто, колет несчастную принцессу веретеном, отчего та не умирает, но засыпает на долгих сто лет.

И так постоянно повторяется каждый раз, когда в Мариинке дают «Лебединое».

Аврора! Опять Аврора!

Теперь все – и муж, и мама, и Набоковы, и близнецы Константиниди, и прочие гости – спорят, надолго ли этот очередной переворот.

– Три недели! – решительно отводит срок большевикам мать.

Муж Дмитрий Дмитриевич, то ли более разумно, то ли более тугодумно, продлевает эту новую революцию аж до следующей весны.

– Зиму, хочешь не хочешь, придется пережидать в Крыму! Не везти же одну новорождённую и двух малолетних девочек через взбаламученную страну обратно в столицу.

И только чудаковатый племянник мужа Саввинька, как за ним водится, ни к месту вклинивается в общий разговор:

– Семьдесят.

В шуме общего спора его не слышат. Все в этом доме давно странного отрока не замечают – сыт, в тепле, книжки читает, бабочек ловит, рисует, что еще надобно?

И только ошарашенная новым появлением в ее жизни проклятого крейсера Анна переспрашивает:

– Чего «семьдесят»?

– Лет.

Саввинька, закончив с бабочками и отсев от Володи Набокова – на долгое общение этот юноша не способен, – не перестает рисовать что-то невразумительное в своей тетради.

– Все же говорят, надолго ли эти большевики, и я говорю – на семьдесят лет.

Мать слышит окончание Саввинькиной фразы и тяжело вздыхает – что с него взять!

– Не обращайте внимания! – извиняется перед Еленой Ивановной мать. – Вечно у нашего Саввы то десятизначные числа в уме в секунду умножаются, то большевики к власти на семьдесят лет приходят! Его бы хорошему психиатру показать, да где в теперешнем Крыму такого взять?

Набокова что-то про странности в поведении собственного сына Владимира отвечает, про его коллекции бабочек, стихи и прочие не принятые в обществе сложности.

Про ее, Анны, девичьи стихи и странности мать благоразумно умалчивает. А могла бы… Как тогда, в ее шестнадцать…

В гостиной спорят. И только Анна сидит, до боли сжав виски руками.

– «Аврора»! Опять «Аврора»!

Не замечая неприлично проступающее на платье грудное молоко, она думает о пугающем совпадении – единожды сломавшая ее жизнь «Аврора» входит в эту жизнь снова. Зачем?!

* * *

В начале декабря из Петрограда приезжает старший Набоков – Владимир Дмитриевич. С сыном Владимиром заезжают к матери Анны на обед. Рассказывает, как 23 ноября прямо на утреннем заседании большевистский прапорщик, по подписанному Лениным приказу арестовал всю кадетскую комиссию.

Мать картинно заламывает руки.

– Членов Учредительного собрания! Законно избранных! Арестовать?!

– Пять дней нас, пятнадцать человек, держали в узкой, тесной комнатенке в Смольном! – Владимир Дмитриевич до сих пор в недоумении. – В уборную выводили по одному. Ни умыться как положено, ни белье на чистое сменить! Сдавленность воздуха к концу заключения в той комнатке – злейшему врагу вовеки не пожелаю такого почувствовать! – Словно боясь снова оказаться в запертом спёртом пространстве, Набоков глубоко вдыхает воздух. – Вечером пятого дня лохматый матрос объявляет нам «именем народной власти», что мы свободны!

Вздох облегчения здесь, в материнской крымской гостиной, будто всё это объявлено только сейчас.

– Наутро Учредительное собрание должно начать работу. Мы являемся в Таврический. И что же?! Извольте! Теперь нам заявляют, что лидеры кадетов графиня Панина, Шингарев, Кокошкин и князь Долгоруков арестованы. Комендант приказывает нам разойтись, а в зал введены солдаты. Но мы продолжаем работу!

Набоков-старший снова как на трибуне Таврического. Воодушевлен. И энергичен. Не по-доброму энергичен. По-злому.

– Нам едва позволяют закончить заседание. Договоренность – продолжить на следующий день. А двадцать девятого ноября выхожу из дома и по дороге в Собрание на афишной тумбе читаю декрет этой, с позволения сказать, власти: «Арест и привлечение к суду всех руководителей кадетов – партии врагов народа!»

– О господи! – трет виски мать! – А вы еще уезжать в сентябре не хотели!

Снова многозначительный взгляд матери в сторону Анны, полный подтекста, что, конечно же, это она, мать, всех из погибающей столицы вывезла и всех их спасла. И обратно подчеркнутое внимание к Владимиру Дмитриевичу.

– Так как же вы выбрались?

– Невероятное везение. Сразу же иду на станцию. В конторе спальных вагонов получаю билет первого класса и место до Симферополя. Домой возвращаться опасно, чую, что могут арестовать в любой момент. По телефону – чудом работает! – отдаю распоряжение слуге принести мои вещи на вокзал, и тот приносит их, можете себе представить, в заплечном мешке. В мешке!!! Так с мешком и еду!

– А как же теперь Софья Владимировна? – спрашивает мать о судьбе графини Паниной, хозяйки Гаспры, где теперь живут Набоковы.

– Велела передать, что в ее имении нам рады, но сама она не будет искушать судьбу, не поедет в Крым. – Владимир Дмитриевич оборачивается к сыну. – Так и расположились мы в Гаспре. Помогли старому слуге донести тяжелую кушетку из дома самой Софии Владимировны в флигель у фонтана, где мы квартируем. Тогда я сказал Володе: «Вот так ты понесешь мой гроб к могиле»!

– Будущее увидели, – отзывается Савва.

Мать, как обычно, бросает на недоросля недобрый взгляд и спешит загладить его неловкость.

– Бог с вами, Владимир Дмитриевич! – Руки матери взлетают в изумлении вверх. – Как можно такое говорить! Тем более сыну!

– Володя, наслушавшись моих рассказов, целую оду «К свободе!» написал. «И, заслоняя взор…» Как там, Володя?

– «*И, заслоняя взор локтем окровавленным…*»

– «*Обманутая вновь, ты вновь уходишь прочь, / А за тобой, увы, стоит все та же ночь…*», – из Саввиного угла с бабочками и гербарием подает голос Набоков-младший.

– Не ода! Это не ода! – не может не уточнить Савва. – Ода – торжественное стихотворение, посвященное какому-либо событию или герою, присущее, преимущественно, эпохе классицизма, а у Володи…

Анна не выдерживает и выходит.

Получасом позже, покормив Ирочку, отдав ее на руки няньке Никитичне и велев гувернантке с Олей и Машей читать из Киплинга, Анна спускается в гостиную.

Мать всё спорит с Набоковым теперь уже о волнах петроградского переворота, докатившихся до полуострова.

– Но позвольте! Был же сформирован Таврический губревком во главе с членом партии кадетов! Комиссаром Временного правительства стал ваш сторонник Богданов! Как вы можете такое сотрудничество объяснить?!

– У вас устаревшие сведения, любезная Софья Георгиевна! Кадет во главе губревкома никого не устраивал – ни их, ни нас! Его уже сменил Бианки, правый социалист. – Набоков-старший оглядывается по сторонам в поисках сына.

– Володя гуляет. С Саввушкой, – успевает подсказать гостю муж Анны, наверняка зная, что уходили мальчики вместе, но каждый из них явно гуляет по одиночке. Такие уж они оба – отшельники.

Владимир Дмитриевич кивает, не отвлекаясь от спора.

– Опаснее Всекрымский съезд Советов, созыв которого губревком назначил на шестнадцатое сего месяца. Уверен, он признает всё случившееся в Петрограде преступной авантюрой! Но в нынешней ситуации, голубушка, Софья Георгиевна, мы просто обязаны призвать все антибольшевистские силы к консолидации.

– Владимир Дмитриевич, объясните, что за «канцелярия военного директора» и кто он такой, этот Дж. Сейдамет? – включается в политический разговор уже и муж Анны. – И по какой причине генерал Врангель от командования войсками отказался?

– Петр Николаевич счел всё происходящее в здешних так называемых вооруженных силах Крымского революционного штаба «типичной керинщиной». Где мыслят иметь армию, демократизированную с соответствующими комитетами и комиссарами! И заявил, что ему с ними не по пути…

– Так долго продолжаться не может! – Мать вся на котурнах. – Вы читали, что пишет Ильин. Послушайте! – И начинает зачитывать с пафосом: – «*Разрушены железные дороги, приостановлена почти работа телеграфа. Жизнь как бы замерла, здоровое биение пульса страны остановилось*». И дальше: «*Вместо творческой созидательной работы у нас растет и множится анархия, всюду дикий разгул разъяренной толпы, разбои, грабежи, самосуды, расстрелы, всюду хаос и разрушение, идет братоубийственная война, улицы городов залиты кровью уничтожающих друг друга людей, всюду безумие и ужас. И кто знает, когда кончится эта сатанинская пляска. Дошли ли мы до той последней черты, переход которой знаменует собой перелом в сторону отрезвления и сознательного отношения масс к судьбам страны? Или нам суждено пережить еще большее развитие ужасов анархии?*»

Скучно. Ничего из того, о чем спорят мать, муж и Набоков, Анна не понимает. Не дослушивает, берет шаль, идет к выходу через кухню, чтобы с гостями в разговоры не вступать.

– Барышня, замерзли? – суетится истопник Федот.

В материнском имении, сколько детей она ни роди, ее, похоже, никогда не перестанут звать «барышней».

– Так мы того, живо огоньку прибавим!

Но холод не от водяных батарей, которые из-за нынешних перебоев с электричеством то греют, то не греют, и приходится Федоту по старинке печи топить. Холод, он где-то внутри.

Снова идет к «своей» скале. Ребенка в ней уже нет, но декабрьская вода куда холоднее, чем в день ее приезда в сентябре.

Море штормит – ни следа от встретившей ее двумя месяцами ранее идеальной иссиня-черной прозрачной глади. Штормит и пугает. Уже не то море, которое манило ее броситься с разбега со скалы.

Волна за волной несет тяжелую обреченную силу, чтобы разбить ее о каменистый берег. И отступить, увлекая тысячи камней за собой, своей обессиленностью создавая преграду для волны следующей. Такого моря Анна прежде не видела. Да и зимой в крымском имении прежде никогда не бывала.

Теперь уже ничего не вызывает желание броситься в воду. Напротив, близость обрыва пугает. Что изменилось в этом воздухе? Что-то сломалось? Что перечеркнуло радость последних недель?

Шорох за кустарником олеандра рядом. Анна обходит его с другой стороны. Кутается в теплую шаль.

Там Савва. Ловит разлетающиеся от порыва ветра, испещренные странными записями, рисунками, чертежами листы и листочки. Анна помогает племяннику мужа собрать улетевшие страницы. Смотрит на последний из поднятых ею листов.

– Отчего такой непонятный рисунок, Саввинька? – Отдает собранные страницы, случайно касаясь его холодной руки.

Подросток опускает глаза. На нее не смотрит.

– Понятный! – упрямо не соглашается чудаковатый племянник мужа. – Его иначе нужно смотреть. На свет.

Солнце зашло. Света нет.

– Хорошо, я при лампе вечером погляжу. Покажешь, как смотреть?

Кивает молча.

Анна собирается уходить, но через несколько шагов оборачивается.

– Отчего ты про семьдесят лет сказал, Савва? Когда все гадали, сколько эта смута продлится.

– Услышал.

– Что услышал? Откуда?

– Не знаю. Услышал.

Откуда услышал, если никто в гостиной тогда ничего подобного произнести не мог? Мать говорит про Савву «не от мира сего». А если не от мира «сего», то от мира какого?

Или он услышал там, где прорицательница берет свои предсказания, и где она сама прежде брала свои стихи. Слышала. Не сочиняла – слышала, едва успевая записать.

Отчего такая тревога возникает внутри?

И еще эта «Аврора» никак из ума не идет.

И Саввины слова про семьдесят лет.

А если спросить? Задать вопрос мирозданию?

Нет здесь прорицательницы из Коломны с ее странными картами звезд и неба и с безмолвно шуршащей птицей.

Но есть еще один способ заглянуть в будущее. Опаливший ее душу однажды.

Способ есть. Но снова решиться на такое невозможно.

Но невозможно и не решиться.
Отчего такая тревога внутри?

Под знаком волка

Анна. Крым. Декабрь 1917 года

В ту осень к ним прибился волчонок.

Тощий. Маленький. Едва живой – кости, обтянутые кожей. Весь в крови. И впившихся в кожу паразитах.

Девочки выезжали из имения на своих пони, когда заметили «бедную больную собачку». Катание на пони было забыто. Гувернантка пыталась, запретить: «Блохи! Опарыши! Не смейте в руки брать!» На руки брать не решились. Побежали в дом, просить скорее «бедную больную собачку» спасти.

Анна идет за ними к воротам, где управляющий Франц Карлович уже распекает работников за «блохастого волка» и велит «эту гадость» из имения «немедля выбросить вон».

«Эта гадость» едва дышит. Но шипит и скалит зубы, как может.

Работники вооружились вилами и сеткой, чтобы, загнав звереныша, оттащить подальше в предгорный лесок. А там и загонять нечего, до заката издохнет сам – в чем жизнь теплится, не понять.

Кости. Кожа. Кровь.

И глаза.

Даже не думала, что у волков такие глаза.

Или не у всех волков, а у одного волка.

Позже верстах в трех от имения находят убитую волчицу и двух дохлых волчат. А этот, подстреленный, не издох сразу, чудом сумел до людей доползти.

На нагноившейся ране кишат слепни и паразиты. И весь этот комок крови, грязи и боли, к радости девочек и к ужасу гувернантки, Анна несет в дом. Несет, догадываясь, что теперь скажут мать и муж.

Но, к изумлению Анны, муж за волчонка заступается.

– За доктором надобно послать.

И мать как-то странно глядит на грязный комок, потом на зятя и распоряжается послать за ветеринаром, а пока велит Марфуше несчастного от крови обтереть и всех паразитов из него пинцетом достать.

Марфуша вполголоса, чтобы не слышала хозяйка, бурчит, что не для того в благородный дом в горничные нанималась, чтобы паразитов из блохастых волков, которые вот-вот подохнут, вытаскивать. Но ослушаться не решается.

Идет наверх в спальню матери за пинцетом, возвращается на кухню, где на скамью положен спасенный, всё еще бурча, начинает выщипывать паразитов так резко, что и без того страдающее животное мучается еще сильнее. Волчонок уже и рычать не в силах, но взгляд такой, что Анна решительно отбирает пинцет из рук Марфуши. И дальше битых полтора часа до приезда доктора, вооружившись лупой, вытаскивает опарышей под восторженным присмотром дочек, которым близко к волку подходить не разрешено, но и выгнать их совсем из кухни никто не в силах.

Ветеринар из Алупки первым делом предлагает волчонка умертвить, «дабы понапрасну не мучился», но после громкого рёва девочек и внезапно решительного: «Об этом не может быть и речи!» матери превращает кухонный стол в подобие операционного и велит Марфуше вымыть руки и ему ассистировать. Но Анна прогоняет Марфушу и идет мыть руки сама.

Ветеринар, пышный, усатый, усыпляет звереныша платком, пропитанным хлороформом, и извлекает пулю.

– Четверть дюйма вправо, и не было бы его. Как с пулей в теле еще ползти смог, уму непостижимо!

Анна забирает пулю и прячет в карман.

– Сегодня не кормить, водой только поить. Завтра видно будет, выживет ли.

Сомневающийся волчий доктор сам обильно закусывает и стопочку пропускает, Марфуша паразитов боится, но в другом свое дело, что приезжим за обедом запотевший штоф подать надобно, знает.

– Может не выжить?! – У Олюшки дрожат губки.

Гувернантка не углядела, что девочки снова рядом и всё слышат. Маша вслед за сестрой кривит ротик и вот-вот заревет.

– Выживет! – спешит успокоить дочек Анна. И, уже сказав это, пугается, что как дохлый волчонок помрет, если даже ветеринар сомневается? Как потом девочкам объяснять, почему мама их обманула?

– Помёт этого года. Судя по зубам, совсем мал. Куда меньше, чем любой волчонок первого года должен быть к своей первой зиме. – Волчий доктор пропускает вторую стопочку и смачно закусывает. – Без пищи явно не первый день! Чем только жив? Сколько лечу божьих тварей, всё удивляюсь.

Анна велит Маше и Оле слезы утереть.

– Выживет! Выкормим! Сегодня поить из бутылочки будем, дальше посмотрим.

Девочки приносят из детской комнаты кукольную колыбельку и постельку – волчонку постелить, чтобы мягко было. Савва, вернувшись с очередной прогулки, разглядывает неожиданного постояльца. Бубнит, что на мягком волки не спят, на то они и волки. Но девочки всё равно устраивают постельку, и до самого вечера их от волчонка не оттащить.

Утром Анна первой торопится вниз, чтобы девочки не увидели, если вчерашний пациент мертв.

– Живуч подлец!

С вечера презрительно морщившаяся Марфуша теперь глядит на волчонка изумленно.

Жив.

Смотрит в глаза прямо. Внимательно смотрит. И начинает лизать Анне руки.

– Благодарствует! – выдыхает нянька Никитична. – Спасибочки так говорит.

Анна гладит тощенькое тельце. И отправляет няньку за бутылочкой с соской. И за молоком. Не волчьим, понятно, но какое есть.

Волчонок брать соску не хочет. Слизывает немного молока у Анны с рук и отворачивается.

– Волки до полутора месяцев молоком волчицы питаются. После переходят на животную пищу, – говорит Савва. – Первое время волк-отец на охоте добывает сырое мясо, и сам его пережевывает, переваривает и уже переваренное для волчат отрыгивает.

– Мы, чё ли, тепереча отрыгивать нанятые?! – восклицает Марфуша.

Но Савва ее успокаивает:

– К осени волчата должны уже питаться сырым мясом сами.

– Но не такие больные, – сомневается Анна. – Он сейчас и крошечного кусочка проглотить не сможет.

Велит принести с кухни оставшуюся с ужина телячью грудинку и сама, пережевывая, кладет небольшие кусочки волчонку прямо в пасть. Волчонок глотает.

– О! Майн гот! Еще бы грудью зверя кормили, – бурчит себе под нос управляющий Франц Карлович.

Приехавшая в очередной раз неведомо насколько погостить Аглая Сергеевна, мать близнецов Константиниди, зовет всё это «дуростью» – «волка в доме держать!». Но мать отчего-то Анну защищает:

– Пусть кормит!

Назвали волчонка Антипом Вторым.

Муж рассказывает девочкам длинную сказку об Антипе Первом, выдумав этому несмышленышу старшего родственника, который когда-то спас от смерти маленького Митюшу Данилина, его самого, отца девочек.

– Не спас бы, не было бы меня, и не было бы вас.

Девочки ревут, успокоиться не могут.

Савва вместо сказок заканчивает выдумки мужа настоящей лекцией про вымирающую породу крымского волка. Что похожи они на немецкую овчарку, за что чехи называют их «волчарки». Всезнающий племянник мужа только удивляется, что волчонок маловат.

– Волчий помёт обычно бывает в апреле-мае, чтобы до зимы волчата смогли подрасти. А этот какой-то маленький.

Савва всегда такой. И за энциклопедиями идти не надобно. Всё, что когда-либо читал, наизусть помнит.

– Быть может, оттого что здесь зимы теплее – в Петрограде давно снег и мороз, а здесь солнце, и волчата могут позже рождаться и зиму пережить? – высказывает предположение Анна.

Но правильного ответа не знает даже Савва.

Голубые глаза, пушистая шерстка, избавленная Анной от всех паразитов и отмытая нянькой дочиста.

Найденыш на глазах оживает. Решительно выбирается из колыбельки. Нянька учит его «ходить на двор, а тамочки, где спишь, не ссать!». Быстро соображает. Смешно, косолапо, чуть прихрамывая на раненый бок, семенит к двери, просит выпустить.

Обследует пространство. Падает со ступеньки. Всё нюхает. Лапки пока слабые, расползаются. Стонет. Ушки прижаты. Забирается в оставленную на порожке колыбельку Иришки. Гувернантка криком кричит. Но Анне за дочку отчего-то не страшно. Положит морду девочке в ноги и сопит. Оба сопят. Волчонок и девочка.

Подрастает. Ушки становятся острее, морда вытянулась, лапы тоже. Хвост непривычно длинный, не как у собак. Сырое мясо уже рвет зубами, только так.

Муж с работниками пытаются дрессировать. Собак обучают, а этого никак. Но бегает за людьми не хуже собаки.

Игры его начинают напоминать охоту. Поймал мышку-полевку, поймал белку, разорвал на части, сожрал. Зверь. Хоть и живущий при доме. Но зверь. Против природы не попрешь.

* * *

Кроме волчонка у этой зимы много странностей.

И погода! Расцветающие в середине января крокусы. Шумящее под окнами море, без которого, ей кажется, теперь не уснуть.

И перебои с продуктами, когда переодевшимся в вечернее к ужину хозяевам лакеи в ливреях подают «Pommes de terre au bacon» – небольшую отварную картофелину с маленькой жареной луковицей и крохотным кусочком ветчины на каждого. Муж отдает свою порцию Анне, как кормящей. Но ветчина случается всё реже, и масла поджарить луковицу всё чаще нет.

И странное разное время суток, которое нынешние местные Советы для каждого поселка устанавливают отчего-то сами. Когда у них полдень, в Гаспре, где Набоковы, уже два часа, в Ай-Тодоре у вдовствующей императрицы час, а в Мисхоре у Долгоруких и вовсе половина второго. Мать сетует, что вовремя теперь никуда не приехать и ни с кем не созвониться.

И Павел, их недавний конюх, с которым она тайком от матери играла в детстве, ставший председателем местного Совета, реквизирует материнское авто «на нужды революции», но по просьбам матери присылает ей ее же авто и шофера Никодима для поездок в Гаспру и Алупку.

И доносящиеся откуда-то издалека обрывки пугающих слов: «классовый враг», «десятимиллионная контрибуция на буржуазию», «резня».

Анна от происходящего закрывается. И прежде политикой не интересовалась, а уж теперь, когда снова может дышать, слышать все эти ужасы и страхи, споры, пересуды, курултаи, муфтии, народные союзы, кадеты, большевики, эсеры… Увольте! Никакого желания!

До их имения, притаившегося в стороне от основных дорог, все ужасы докатываются отдаленным эхом пересказов даже не самих очевидцев, а тех, кто рассказы этих очевидцев якобы слышал.

Мать, активная сторонница кадетов, несколько раз за зиму ездит в Гаспру, в имение графини Паниной, где нет самой Софьи Владимировны, но там родственники ее мужа Петрункевичи, Набоковы и другие видные деятели кадетской партии. Порой с ней увязывается и симпатизирующий кадетам муж. Зовут с собой Анну, но ей никуда из своего мира выбираться не хочется.

В начале января из Петрограда доходят страшные новости – вооруженные матросы-большевики, ворвавшись на первое заседание Учредительного собрания, его разогнали. Кадеты Кокошкин и Шингарёв, находившиеся под стражей в доме Паниной, убиты. Та же участь могла постигнуть и Владимира Дмитриевича, не реши он так скоро вопрос со своим отъездом.

– Безумие с вашим политическим реноме, находиться теперь здесь под собственным именем, – уверяет Владимира Дмитриевича мать.

– В краю специалистов по легочным заболеваниям придется мимикрировать под доктора, – то ли шутит, то ли всерьез говорит Набоков. – А вот насчет ваших прошлогодних советов переводить деньги в иностранные банки, признаю, дорогая Софья Георгиевна, как вы были правы. Денежные проблемы начинают угнетать меня.

– Но вы же всё время мне твердили: «Во время войны я не могу забирать золото из России!» Я оказалась худшей патриоткой, благодаря чему могу большую семью кормить.

Мать собой горда. Ей всегда важно, чтобы кто-то подтверждал, что она всё делает великолепно. Обычно на этой роли зять. Но сегодня лучший объект – Набоков.

В одну из неспокойных ночей января Анне приходится несколько раз просыпаться и подниматься в комнату маленькой Иринки – няньке Никитичне никак не удается девочку успокоить. Покормив и уложив дочь, она задерживается около большой лестницы, ведущей вниз. Снизу голоса. Матери и мужа.

– Оболенский сам видел, как застигнутые врасплох жители бежали в одном белье, спасаясь в подвалах.

Прислушивается.

Мать за ужином обмолвилась о резне в Ялте, но, выразительно переглянувшись с мужем, подробности оставила до вечера, когда она, Анна, из гостиной уйдет. И теперь пересказывает слухи, которые привезла в этот день из Гаспры.

– Брат Набокова, Сергей Дмитриевич, в Ялте едва спасся – в дом попал снаряд, и он с семьей вынужден был искать убежище у соседей. Говорит, матросы с крейсеров «Гаджибей»,

«Керчь» и «Дионисий» устроили в городе резню и погром. Говорит, Ялта разграблена. На улицах форменная война! Говорит, дрались на штыках! Русские с русскими! Всюду трупы, кровь. Князь Мещерский, Захаров, Федоров, а с ними и другие расстреляны. Офицерам привязывали тяжести к ногам и сбрасывали в море, некоторых после расстрела, а некоторых живыми. А в дом Врангеля…

– Петра Николаевича? – уточняет муж.

– Брата его Павла Николаевича, мирного человека, историка, ворвались матросы. По счастию, самого барона не тронули. Заявили, что воюют только с теми, кто воюет с ними, да еще с татарами.

– Национальной резни в нашем теперешнем положении России только не хватало! – тяжело вздыхает муж.

– А самого Петра Николаевича Врангеля арестовали, но жена на коленях вымолила ему свободу.

– Как всё это быстро изменилось! За несколько недель на смену мирного сожительства явилась какая-то смертельная ненависть… – обреченно добавляет муж.

Анна не дослушивает. Идет спать. Мать и муж любят рассуждать долго и пространно. А через несколько часов Иринушка снова запросит есть, нянька снесет ее в спальню Анны, и, хочешь не хочешь, опять надо будет просыпаться. Словно какая-то невидимая защита оберегает ее, только что родившую и теперь кормящую, от всего, что могло бы лишить ее покоя, а значит, и молока, а, значит, и лучшей и единственной пищи для ее девочки.

Но к концу января и ее невидимая защита дает трещину. Проснувшись от непонятного шума, едва накинув шаль и чуть приоткрыв дверь, Анна выглядывает с лестницы вниз. Этого «чуть» хватает, чтобы в сознании ее запечатлелась картина: заляпанные грязью ботинки и сапоги на персидском шелковом ковре.

Внизу двое матросов в бескозырках и бушлатах и один гражданский, патлатый, в куртке из бычьей кожи. Крымский январь как питерский сентябрь. Или комиссар тот же самый?

Патлатый поднимает глаза, смотрит прямо на нее, конечно, не узнает, отворачивается.

Наспех одевшись и не заходя в большие комнаты, откуда доносится шум, Анна поднимается в комнату к девочкам. Горничная Марфуша при дрожащем свете свечи – электричества уже вторую неделю как нет, и свечи теперь редкость – рассказывает перепуганной няньке Никитичне о незваных гостях.

– Матросы. С Севастополю. С корабля «Борец за свободу». Грят, всю буржуа́зию постановили истребить.

– Убивать будут?! – ужасается нянька.

– А нас-то чего! Мы-та не буржуа́зия. Мы это по-ихнему проль… как их там… прольрит.

– Proletariat, – поправляет оказавшаяся в той же комнате гувернантка Оли и Маши.

– Ищо какуй-та трибуцию требуют, – продолжает Марфуша. – Но наш-то конюх Павел теперяча председатель Совету, вовремя барыню предупредил.

Слово «контрибуция» новоявленная пролетариатка не выговаривает. Приходится Анне спуститься в гостиную, чтобы узнать, в чем дело.

Непрошеные гости уже удалились. Дворецкий даже проводил их до авто, дабы Антипка не вцепился им в ноги. Лишь тяжелый запах дешевого табака и давно нестиранных бушлатов висит в воздухе маленькой, как лаковая миниатюра, материнской гостиной, не давая принять недавний визит за дурной сон.

Мать и муж явно напуганы. Услышав шаги Анны, быстро меняют тему, но тревогу из глаз так поспешно убрать не могут.

– Что за «контрибуция»? – спрашивает Анна.

Раз уж такое чрезвычайное происшествие, как этот ночной визит, в их имении случилось, то приличие обязывает ее узнать, что к чему. Но слушать ответ не особо хочется. Куда больше

ее занимает, говорить ли матери о возмутительных речах Марфуши или умолчать – хорошую горничную теперь не найти.

Мать молчит. Муж бормочет что-то невразумительное. И лишь до этого никем не замеченный Савва, все это время просидевший в дальнем углу и привычно марающий бумагу какими-то непонятными то ли рисунками, то ли записями, то ли чертежами, как по писанному выдает дословно:

– На классового врага наложена десятимиллионная контрибуция, которую представители буржуазных слоев должны сдать в кратчайший срок. К невыполнившим постановление революционного совета будут применены особые, вплоть до крайних, меры.

– Ты стенографировал? – удивленно приподнимает одну бровь мать. Кажется, она только теперь замечает, что во время этого матросского нашествия в комнате их было на одного человека больше.

Савва мотает головой.

– Читал в газете.

Но ответ его никто не слышит.

– Будешь платить? – спрашивает Анна, ожидая привычно резкого ответа матери – мол, станет княгиня Истомина платить каким-то голодранцам! Не услышав ответа, собирается вернуться наверх. Но оборачивается с порога.

В глазах матери если не страх, то испуг.

В глазах мужа этот испуг превращается в панику.

– Трое девочек, и Аня…

– Я не девочка, – привычно возражает Анна.

Но муж и мать ее, кажется, не слышат.

– Три девочки и Аня… Что делать? Что делать…

Следующей же ночью встревоженная Анна всё же рискует заглянуть за черту. Без спиритического сеанса с медиумом. Без столоверчения. Только с ножницами, поясом от шелкового халата и книгой.

Однажды она уже поплатилась за попытку заглянуть в неведомое. Те новомодные увлечения спиритизмом, коими был полон предвоенный Петербург и которыми увлекались если не все, то почти все – от царской семьи до последней модистки, сумевшей насобирать денег на мистический сеанс, – не прошли для нее даром.

Все, кто был в тот день на спиритическом сеансе вместе с ней, вышли от прорицательницы и, как ни в чем не бывало, пошли по своим делам. Кто-то ругая на чем свет шарлатанов, выведавших все их тайны и умудрившихся встроить вращающий механизм под столик. Кто-то задумавшись над странностями явления загадочных душ. Кто-то отчаявшись. И только она сорвалась в пропасть.

Ей было шестнадцать. В городе она была одна. С гувернанткой и управляющим. Мать проводила зиму в Европе.

Хотелось любви. Хотелось славы. Хотелось стихов.

Хотелось знать, что же будет.

На спиритический сеанс ее за руку привела подруга по гимназии. Двумя днями позже шепотом, как великую тайну, подруга рассказала, что для того, чтобы вызвать духов, не обязательно ходить в такие места, платить деньги и терпеть общество неприятных людей, которые узнают твои секреты. Достаточно взять любую книгу, ножницы и пояс и… Они могут это делать вдвоем.

Когда книга первый раз завертелась на их пальцах, Анна едва не лишилась чувств, казалось, что всё это происходит не с ней.

Испугалась. Хотя, казалось бы, пугаться было нечего. Вызванный гимназической подругой дух обещал ей любовь великого поэта, славу и много детей. Всё, как и мечталось. Только с того самого дня, как книга завертелась на ее онемевших пальцах, стало казаться: над ее головой разверзлась пропасть.

Не под ней, а над ней.

Затягивающая, засасывающая в себя пропасть, швыряющая в нее то куски боли, то строфы стихов, то бешеный стук сердца, не знаешь, как его унять или обогнать. Точно кони понесли, как ее маленькую летом в мамином имении когда-то понесли лошади. Если бы не бросившийся под упряжку деревенский мужик, которого лошади долго еще тащили по земле и у которого вся спина после оказалась одним кровавым куском мяса – рубаха в дым, кожа содрана, вся спина одна рана – она бы убилась.

Так и сердце ее начинало нести вскачь, и она не знала, что с этим неровно бьющимся, убегающим всё быстрее и быстрее неуправляемым сердцем делать. Словно забившись в угол тарантаса, лишь смотрела в глаза надвигавшейся пропасти. Но теперь не было мужика, способного броситься под лошадь и обуздать ее отчего-то вдруг понесшееся вскачь сердце.

Стихи стали случаться. И мучить. Влюбленного великого поэта не находилось. Голова превратилась в одну сплошную дыру, поглощающую неведомо откуда льющуюся неистовую силу, сжигающую всё внутри.

Она не могла спать. Есть не могла. Учиться не могла.

Так длилось неделю. Месяц. Пять…

На исходе года такого пожара вернувшаяся из Европы мать резко сказала:

– Пора тебе замуж. Все беды в твоем возрасте от отсутствия мужа. Подошел бы и хороший любовник, но это явно не для тебя.

Анна вспылила. И это говорит ее тонкая, умная мать – да как она может! Разозлилась. Закрылась. И, быть может, сжигала бы себя и дальше. Если бы с возвращением матери в их доме снова не возник Дмитрий Дмитриевич. И не посмотрел на вдруг выросшую девочку другими глазами. А она другими глазами посмотрела на него. И увидела не «Митюшеньку Митрича», которого знает с детских лет, и не уважаемого университетского профессора, с которым ей всегда так интересно было рассуждать и спорить об искусстве, а не самого молодого, но вполне привлекательного и совсем нестарого мужчину.

Влюбленного в нее мужчину.

И она влюбилась.

Или ей показалось, что она влюбилась.

Или это ему показалось, что влюбился он. Взял и влюбился в тот миг, когда после долгого отсутствия снова появился в доме на Большой Морской, и дверь ему открыла та, которую он с раннего детства безнадежно боготворил и вечно отдавал другому. Та же самая. Только снова юная. Взглянувшая на него не с привычной колкой ироничностью, с которой всегда смотрела на своего ближайшего друга девочка Соня, а с восторженной почтительностью ее дочери. С той восторженной почтительностью, от которой до любовной привязанности один шаг. Нужно только захотеть этот шаг сделать.

И Дмитрий Дмитриевич захотел.

Читал ли профессор труды по вошедшему в ту пору в моду психоанализу? Успел ли он осознать опасность той легкости, с которой он замещал юной Анной с детства любимую им ее мать? Читала ли те труды сама Анна и поняла ли, что замещала не юным мужем рано потерянного отца? Успел ли Дмитрий Дмитриевич осознать пропасть, в которую вся его любовь могла скатиться при первом же порыве ветра…

Но так или иначе он сделал предложение. И дочка некогда столь любимой им женщины это предложение приняла. При личной встрече с будущим зятем будущая тёща была, как водится, элегантно иронична, в меру язвительна и очаровательна.

На том увлечение спиритизмом завершилось. «С твоей психикой это запрещено!» – как всегда безапелляционно заявила мать.

И теперь в союзницы мать звать невозможно. Муж не поймет. Но оба весьма удачно уехали в Мисхор к Долгоруким. Остается позвать старую няньку и велеть ей вытянуть палец и держать ножницы, как держит она сама.

Нянька Никитична крестится, причитает, что дело это небожеское, что это грех и господь не велит!

Анна велит ей молчать. Завязывает, как помнит, ножницы внутри книжного тома. И, прикрыв глаза, бормочет, как в прошлом опыте бормотала гимназическая подруга:

– …Вызывается дух…

И… Книга, вдруг отяжелев, делает поворот.

Нянька вскрикивает и роняет колечко ножниц со своего пальца.

– Свят! Свят! Свят!

– Нянька! Молчи. Держи крепче. Мне важное нужно узнать. Как надолго всё это вокруг. Держи!

Ветви старого платана стучат в окно, добавляя страха старухе. Побелевшая нянька еще несколько раз крестится, закрывает глаза и, бормоча молитву, подставляет палец.

– Куды ж тебя несет, Аннушка?!

Анна начинает всё сначала, решая, можно ли вызвать дух отца или позвать кого-то незнакомого. Но произнести имя отца не рискует. Гимназическая подруга вечно вызывала дух некого Савелия Порфирьевича Нестрогина, кто он таков, Анна не знала. Но с незнакомым духом всё же проще.

Книга снова вертится на вытянутых пальцах Анны и няньки. «Господи, что я делаю?!» – проносится в голове. В груди возникает жар, перехватывает дыхание. Но вслух, почти охрипшим голосом она спрашивает:

– Могу я задать вопрос? Как надолго вся эта смута?

Книга вертится один раз – можно!

– Еще на месяц?

Книга неподвижно висит между пальцев.

– До лета?

Книга не двигается.

– Год?

Нянька, закрыв глаза, дрожит от страха.

– Два года? – едва выговаривает Анна, сама готовая упасть в обморок. Жар разливается из груди по всему телу.

Движения нет. Не может же это безумие тянуться так долго! Не хватает только спросить теперь про причуды Саввы, который осенью про семьдесят лет говорил. Кажется, грудь сейчас разорвет от жара.

– Три года?

Ничего.

– Больше… – выдыхает Анна. Успевает увидеть, как книга на ее и нянькиных пальцах начинает бешено вертеться, и теряет сознание.

– Грудная горячка, – произносит открывшая глаза нянька, судорожно развязывает «небожескую» книгу, убирает пояс и ножницы «с глаз долой» и распахивает дверь, чтобы позвать на помощь.

– Мастопатия, – поправляет няньку, проходящий мимо двери Савва.

Проблемы с грудью начались у Анны в двадцатых числах февраля. Подхватившая простуду Иришка плохо сосет. Грудь разбухает от молока. Сегодня, когда Анна рискнула заглянуть туда, куда заглядывать нельзя, и куда уже однажды обещала себе не заглядывать, жар в груди достигает предела. Прикоснуться невозможно, ни то что сцедиться.

Дозвониться до Бронштейна в Севастополе не получается, номер молчит – снова перебои на телефонной станции. Дозвониться в Мисхор к Долгоруким до матери и мужа, чтобы вернулись и отвезли ее к доктору на авто, которое готов предоставить бывшей владелице бывший конюх Павел, также не удается.

Становится понятно, что народными, нянькиными средствами не справиться. Жар, температура поднимается. Простывшая голодная Иришка кричит и кашляет, и снова кричит.

Даже с быстро растущей температурой Анна понимает, что нужно самой ехать в Севастополь к Бронштейну. Срочно. Велит работнику Макару заложить старое ландо и, оставив плачущих старших девочек на гувернантку и няньку, вынужденно взяв с собой кричащую Иришку – заодно доктор и ее посмотрит, – выезжает из поместья.

Трясет всю дорогу. Иришка захлебывается плачем, отказывается брать горячую воспаленную грудь и, голодная, надрывается от крика.

– Ничего-ничего, совсем чуть потерпи, сейчас приедем. Еще часок, и приедем. До Севастополя недолго… – как может уговаривает дочку Анна.

Ничего мучительнее с нею прежде не случалось. Когда болели старшие девочки, им всегда вызывали лучших детских докторов в Петербурге или здесь из Севастополя и Ялты. Те назначали лекарства, няньки всю ночь качали плачущих Олю и Машу где-то вдали от родительской спальни, не мешая спать Анне.

Теперь детских докторов на всем побережье не найти. Маленькая кричащая девочка на ее руках. Тряска и холод в старом ландо и февральская сырость, не способствующая выздоровлению матери и дочки.

– Ничего-ничего, моя маленькая, сейчас приедем! Сейчас приедем! Доктор нас полечит… Сейчас…

Севастополь в сгущающихся ранних зимних сумерках выглядит совсем не тем городом, в который она со схватками ехала рожать в октябре. Тот город был полон закатного солнца. Оранжево-багровый оттенок заполнял над морем весь горизонт.

Этот город темный. Холодный.

И злой. С плотно задернутыми шторами на окнах и закрытыми ставнями. С заколоченными дверями в еще не разграбленных магазинах и лавках, уже разграбленных. С флагами и бесконечными кумачовыми транспарантами, растянутыми, где только можно и нельзя.

Пока ехали., работник Макар хорохорился.

– Не боитеся, барышня, пробьемся!

Родившую трех девочек Анну в материнском имении звать «барышней» так и не перестали.

– Макар на своем веку и не такого повидал! – бьет себя в грудь работник. Но в Севастополе пугается. – Ваша воля, барышня, едемьте обратно! Стреляют!

– Вези, тебе говорят!

– Куды везть, барышня Анна Львовна? Дорога, видьте, вона вся перекрыта. Войска. И с ружьями. Куда везть?!

– Объезд ищи! Не перекрытые улицы должны остаться! – Анна плотнее кутает уставшую кричать Иришку. – Сейчас приедем, доченька! Сейчас приедем! Доктор нам поможет, и тебе, и мне поможет. Скоро-скоро! Ведь скоро уже?

– За тем углом! – машет головой работник Макар. – Высажу вас, барышня, и сгоняю до родичей, живы ли? Мигом обернусь и здесь ждать вас буду.

Не спрашивает, а утверждает. Но сил препираться с работником нет. Макар высаживает Анну с дочкой возле дома, где принимает Бронштейн. И не дождавшись, пока они войдут в парадное, скрывается за углом.

Но…

Что-то не так…

Красный кумач транспаранта над входом. Вывеска на месте. Вход в парадное цел. А внутри…

Настежь распахнутая дверь врачебного кабинета Бронштейна. Разбитые склянки с лекарствами, разбросанные инструменты.

И пусто…

Нет никого.

Анна идет обратно на улицу. Стрельба где-то рядом, за поворотом. Открытое авто с матросами и комиссарами грохочет по мостовой. Рыжая в куртке бычьей кожи среди них. Не по сезону кожанки в феврале.

Авто прогрохотало и снова тишина. Только ветер. Отдаленные звуки выстрелов. И она одна. Больная. С простуженным кричащим младенцем на руках. Посреди пустого холодного города, в котором стреляют.

– Тише, моя маленькая! Тише! Сейчас всех найдем. Сейчас найдем Бронштейна. Или вернется Макар с повозкой, и другого доктора найдем.

Но Макар только уехал, когда его ждать теперь. И ждать ли? Что если он сбежал? Ветер продувает и без того кашляющую девочку и ее саму.

Анна звонит, стучит в двери соседей. Громко стучит. Приличные женщины так не стучат, но ей уже не до приличий.

Не открывают. Никто.

Из одного окна чуть выглянула старушка и сразу же скрылась за занавеской. Хотя что скрываться, видно же – не матросы, не солдаты, а женщина с ребенком. Но не открывает никто.

Стучит снова и снова.

– Бронштейна шукаете? Нет его! – пугает голос сзади.

Дородная тётка. Даже не с двойным, а с тройным подбородком.

– Как нет?!

– Сбежал. Утек буржуй от контрибуции!

– Как сбежал?! От какой контрибуции?

– С луны, никак, свалились, дамочка? Всем буржуя#м велено было собрать десять мильёнов на нужды революции. А энтот сбежал! Если б он, буржуй проклятый, в тот год не помог разродиться моей свояченице, сама б сдала его в ревсовет…

Жар заливает Анну с ног до головы. Пот течет по спине. Грудь сейчас лопнет. Иришка даже кричать перестала, жамкает пересохшими губками.

– Вы, дамочка, шли бы отселя подобру-поздорову. Вижу, дитё у вас малое, и вид не пролетарский в таком полушубке-то. Кабы не вышло чего…

Дородная тетка жадно заглядывается на соболиный мех короткой шубки, подаренной мужем на рождение Машеньки.

– Чего бы не вышло? Почему в полушубке? – не понимает смысла слов Анна. Боль в груди затмевает сознание.

– В таком полушубке постреляют тебя, барыня. Нонче тут буржуа́зию стреляют. Свозят всех в одно место, и поминай как звали!

Пустая улица, продуваемая февральским ветром насквозь. Ни души. Работник Макар уехал, и все меньше надежды, что вернется.

– Мне врач нужен. Помогите врача найти.

– Где ш его теперяче взять-та? Попрятались лекари. – Тётка брызжет слюной, разводит руками, но не уходит. – А шо болит-то? У тебя аль у ляльки?

– У меня. Жар. Девочка кашляет. Сильно, – отвечает Анна. И тихо начинает оседать, боясь упасть в обморок и выронить Иришку из рук.

Тётка подхватывает. Трясет, бьет по щекам, приводя в чувство.

– Давай, давай! Дитя уронишь, болезная. – Протягивает руки. – Отпусти ты дитя! Ничо плохого буржуйскому твоему отродью не сделам. Что ли не люди мы?

Анна лишь крепче прижимает к себе снова кричащую Ирочку.

Красная с черным на тётке шаль. Красное с черным в глазах Анны.

– Пошли! Отведу. – Тянет за собой. – Только бумажные деньги теперь не в ходу. За бумажки буржуя#м никто помогать не станет. У тебя что ценное с собой есть?

Анна качает головой.

– Полушубок отдашь.

Зачем такой дородной тетке полушубок тоненькой Анны? Он ей на одну руку.

– Как же я обратно поеду? Зима…

– Салоп старый дам и платок энтот! Не развалишься.

Делать нечего. Кивает. Нечего делать. Если шубку не отдать, то можно здесь же в этой шубке и упасть, сил держаться на ногах больше нет.

Дородная тётка ведет за угол. Заводит в полуподвал. Кивает на полушубок:

– Сымай!

– Доктор где?

– Щас будет. Шубу давай. – За рукав стаскивает с нее полушубок.

Анна едва успевает переложить Иришку с одной руки на другую. Что как эта тётка шубку сейчас отберет и ее раздетую, с ребенком в этом страшном полуподвале бросит, а никакого доктора здесь и нет?!

Тётка оглаживает мех руками.

– Пойдёть! – Снимает с себя красно-черную шаль. – Покуда в энто закутайся! Салоп опосля принесу. – Стучит в дверь. – Дохрур – не дохтур, а сестра егойная туточки попряталась. Мож, подсобит. – Проталкивает Анну в чуть приоткрытую дверь, и, тяжело топая, почти бежит к выходу из полуподвала.

Ослепленная светом из приоткрытой двери, Анна не сразу понимает, куда втолкнула ее дородная тётка. Отнимут ребенка? Убьют их с Ирочкой в этом подвале?

Красный с черным платок дородной тётки, отданный ей вместо шубки.

Красная кофта рябой девки в этой комнате

Красный кумач транспаранта над парадной.

Красная лампа внутри.

Красное всё, стоит только прикрыть веки.

Жар.

Не нашедшее выхода наружу молоко, кажется, уже кипит внутри нее, лавой вулкана хочет найти выход наружу. Но выхода нет. Лава выжигает внутренности, вырывается из груди, разливается по всему телу, накатывая через плечи в руки, в голову, опускается в низ живота и наливает ноги.

Жар.

Где она? В безопасности? Или ей всё это только кажется, и никакой сестры доктора рядом нет? Сознание ее мутится от жара или это реальность? Но знает одно – нельзя выпускать девочку из рук.

– Анна Львовна! Раздетая совсем! Матерь божья! Как вы здесь оказались?!

Дора Абрамовна?

– Голубушка, Анна Львовна! Девочку отпустите-то, не уроню!

Дора Абрамовна? Медицинская сестра доктора Бронштейна? Которая первая приняла Ирочку на руки. Она это?! Или кажется?

Дора Абрамовна знает, что у нее, у Анны, девочка.

– Перепеленать Ирочку давно нужно.

Дора Абрамовна знает, что дочку зовут Ирочка. Она это? Не видение? И можно ли в ее руки отпустить девочку? Потому что сил удержать четырехмесячного ребенка у нее больше нет.

– Мастит.

Дора Абрамовна ведет Анну к узкой койке, снимает с нее одежду.

– Мастит у вас, Анна Львовна. В тяжелой форме мастит.

Всё внутри у нее взорвется сейчас.

– Доктор Семён Маркович в таких случаях делал уколы и компрессы. И жаропонижающее давал. Только где это жаропонижающее теперь взять!

– …Отпусти ты дитя! Ничо плохого буржуйскому твоему отродью не сделаем!

Кто-то рядом вторит словам дорожной тётки, сказанным на улице. Вернулась? Только будто усохла, тощей стала. И рябой.

– Что ли не люди мы? Да отпусти ты дитя…

Рябая девка в красной кофте снова рядом, хочет Ирочку отобрать?

– Ди́точке в мокром нельзя. Не ровен час, совсем сстудится… – Рябая девка наклоняется над нею…

– Валька. Валентина. Перепеленает Ирочку. Не волнуйтесь, Анна Львовна! – успокаивает ее Дора Абрамовна. – Перепеленает. Сухая байковая пелёнка у нас есть…

– Контрибуцию так и не собрали… буржуев стали стрелять… Доктор и утёк…

Рябой Валентины голос или той дородной тётки, что привела ее сюда? Наяву или ей кажется?

– Не сбежал Семён Маркович. – Снова голос Доры Абрамовны. Даже не голос, шепот. Чтобы те, кто вместе с ними в этой полуподвальной комнате, не слышали. – Его забрали. Пришли требовать контрибуцию. Денег. А денег нет. И ценностей нет. Всё успел он… В общем, нет и ша! Так его забрали… Мёдом бы вам раньше грудь мазать. Теперь мёд уже не возьмет. Отвар укропного семени заварим сейчас. Укроп сушеный еще есть, не отобрали укроп. Заварим. За оконце выставим, остынет быстро. А пока капустный лист. Ох, матушка, как горит-то. Жаропонижающее нужно! Ох, как нужно! Где же взять? – Прикладывает что-то к воспаленной груди. – Матрос к соседке ходит, говорит, экзекуторы эти точно знали, куда идти. Все адреса. И купцов, и ювелиров, и врачей. Многих, говорят, свои же работники сдали! Столько лет работали, а в революцию подались и сдали! Гидалевич купец… на сирот всегда жертвовал. Потеженский, всё за увековечение памяти лейтенанта Шмидта боролся, и к Семёну Марковичу нашему с петицией приходил.

Голоса… Обрывки фраз… Бред это или на самом деле… Истошные крики страдающей от голода Иришки.

Жар… жар… всё кра́сно – кра́сно-кра́сное…

– …Говорит им, девок ваших кто будет лечить, когда вы их дурными болезнями наградите, и детей кто принимать будет, когда вы баб ваших обрюхатите?! Не послушали. Забрали.

Красное… огненное… рыжее. Рыжая из авто с матросами на улице… Рыжая из автомобиля в Коломне, что ехала к предсказательнице. Машет рыжими космами… затмевает ими весь свет…

– …Аресты буржуазных элементов, не уплачивающих контрибуции…

– …Грудя у бабы, вишь, разнесло. Дите́ болезное не сосёть, вот грудя и разнесло.

– Расцеживать вас, Анна Львовна, надо. Расцеживать. Не приведи господь мучение такое…

И кто-то тянется к ее груди…

– …без лекарств умереть может… кабинет весь разграбили. Морфий матросы забрали, остальное побили. Только я в тот кабинет не пойду…

Рыжая. Огненная. Палящая. С большой грудью. которую патлатый революционер лапал тогда в авто в Коломне… Палящая огненная с большой грудью… которая дорастает до размеров солнца… и больше… и больше… и уже это не грудь рыжей, а ее, Анны, грудь и вот сейчас, еще чуть и лопнет, взорвется, разнесет весь мир на осколки, зальет перегоревшим молоком… Огонь рыжей, жар… жар… огонь…

Хлопок. Или выстрел.

Она жива? Или ее уже нет? И где Ирочка? Ирочка, дочка где? Сама во всем виновата… не хотела тебя, дочка… молила о сыне… когда прорицательница сказала, молить нельзя… «Твой сын за бездной…»

Крик девочки заполняет весь мир.

– Уймите ребенка! Или его уйму я!

Огонь… огонь… Рыжая здесь, в комнате, командует. Ее дочку грозит убить? Как просить прощения у Господа, что не хотела дочку?! Как она могла Ирочку не хотеть?! Как могла?! Как?! Где она теперь? Где она?! И Ирочка где? В чьих руках ее дочь? Это Рыжая комиссарша трогает Ирочку?! Зачем она ребенка взяла?! Зачем революции ее ребенок?!

За бездной… Зачем она сама снова свалилась в бездну?! И утянула ребенка с собой… Хотела заглянуть за пределы… Вот они, пределы… Заглянула? К прорицательнице ходила… И вызывала духов… Словно пальцы в электрическую розетку вставила – удар током! Только теперь не сама за себя, как шестнадцать лет… Теперь у нее ребенок… Дочка… Три дочки… И она должна встать! Должна встать! И выжить! И дочку из рук Рыжей забрать! Встать и из рук Рыжей забрать.

– Куда за нужными лекарствами посылать? Где кабинеты врачей в округе?

Чей голос? Рыжей? Огонь…

Красное… красное… огненно-рыжее… жар… жар… рыжее… красное… алое… белое… боль… прозрачность… как вода… белое… алое…

– Террор не самодовлеющая задача, а тактический прием!

Матросы… Комиссары… Куртки бычьей кожи… Из того теленка с пятнышком, которого Зорька принесла на землях матери, когда в сентябре в имение ехали? Или это была тёлочка… Лушка… Зачем она это помнит… Рыжая в крови. Рыжее… алое… белое… белая грудь Рыжей… красная кровь… белые бинты… бинты…

– Цедим… Цедим… Укол сделали. Один сделали… Другой сделали… Должно помочь… Цедим теперь…

У Рыжей грудь в крови.

– Цедим… Спадает жар… Спадает! Цедим… А вам, дама, повязки два раза в сутки менять!

– Я вам здесь не дама! Я комиссар!

– Повязки и комиссару два раза в сутки менять положено! Иначе заражение крови пойдет! Цедим, Валька, цедим…

Жар… Жар… тише… тише… мягче, мягче…

И как пробившая гору лава извержением вверх… молоко…

– Слава тебе господи, расцедили!

Сколько лежит Анна в этой полуподвальной комнатке, она не знает. Была ли в этой комнате рыжая революционерка или ей в жару привиделось?

– Матросня с комиссарами захаживали. Мы сказали, наша ты, хворая…

Рябая Валентина уже принимает Анну за свою. Рассказывает. Пока Анна металась в бреду, Дора Абрамовна делала компрессы, прикладывала капустные листы, мёдом мазала – где только мёд взяла! Ничего не помогало.

– Грудя как камень. Вся горишь!

Рябая Валька рискнула дойти до разграбленного кабинета Бронштейна, поискать среди разбитых склянок и приборов оставшиеся шприцы, бинты и лекарства. Лекарств не нашла, не осталось там лекарств. Но обратно за собою привела рыжую комиссаршу. Раненную в ключицу. Тоже доктора искала.

– Если бы господь на порог комиссаршу не привел, вас, голубушка Анна Львовна, было бы не спасти!

Медсестра доктора Бронштейна прикладывает Ирочку к ее уже остывшей груди. Дочка не кашляет. Жива. И почти здорова.

– Абрамна комиссарше грит – без лекарства твою комиссарскую жизню не спасти! – взахлеб рассказывает рябая Валька. – Зараженье кровей и кирдык! Велела, чтоб комиссары с матросами лекарства для Рыжей искали! Те и притаранили. Комиссар, патлатый такой, принес. Про тебя спрашивал, кто такая. Сказали – наша, болезная. Еще чей-то врачебный кабинет, поди, разграбили. Но это уже не наш грех! Господь простит!

Теперь уже Дора Абрамовна рассказывает, как она извлекла из ключицы комиссарши пулю, уколола ее принесенным лекарством, наложила повязку. А часть ампул в карманах широкой юбки припрятала и после Анне уколола. После лекарство начало действовать, и они с Валентиной в четыре руки смогли сцедить застоявшееся молоко. И спасти Анну. И Иришку.

– Домой мне надо. В имение. Там с ума сходят, не знают, где мы.

– Домой! Да на чем же вам ехать домой!

Дора Абрамовна с Валькой слушают ее рассказа про Макара с ландо.

– След того Макара, поди, простыл! – Рябая Валька рубит ладонью воздух. – Чтоб с повозкой и лошадью да вернулся?! Нынче такому не бывать! Продал давно, пока не отобрали, и в бега! Мокроту не разводи тут, буржуа́зия! Схожу поутру. Поспрашаю про того Мирона.

– Макара…

– Да хучь Мефодия!

Работника ее Макара рябая Валентина, сколько ни ходит вокруг, сколько про его родню ни спрашивает – не находит. Находит мужика, который за обещанную по приезде плату яйцами, молоком и хлебом соглашается отвезти их с Иришкой обратно в имение.

В тёткиной красно-черной шали, в старой фуфайке Валентины – обещанный вместо полушубка салоп дородная тётка так и не принесла – на старой бричке, заваленной какой-то рваниной Анна на потомственную княгиню рода Истоминых никак не похожа. Что к лучшему.

Мимо едут грузовики с матросами и, в завершении всей кавалькады, открытое авто.

– Комиссары поехали! – найденный Валькой возница сплевывает сквозь зубы.

Анна удивляется: вид у нее в старой фуфайке такой, что при ней теперь можно сплевывать?

– Офицеро́в, что не перешли на их сторону, грят, постреляли!

– Как постреляли?!

– Насмерть! Матросы грузовики по всему городу отобрали. Трупы собирают и вывозят топить.

Мужик разворачивает повозку.

– Не проехать здеся! Митинг! Праздник убивцев.

Лошадь пугается толпы и не двигается с места.

– Давай, проклятущая, трогай!

Анна, вжимаясь в рванину и прижимая спящую Иришку к себе, осторожно поглядывает на «праздник убивцев». За спинами в черных бушлатах ничего не видно. Но слышно.

– Бей буржуев!!!

– …Я главный комиссар Черноморского флота Роменец…

Выстрелы.

То ли в небо из винтовок палят, то ли прямо на митингах расстреливают.

– Слово революционному матросу Розенцвейгу…

– Вещи нужно называть своими именами! Убийства убийствами! Грабежи грабежами! Никогда еще за свою великую и сложную историю Севастополь не переживал таких позорных дней, бессмысленных по своей кровожадности! Не осталось семьи, которой бы не коснулись боли этих дней.

Единства среди «убивцев», кажется, нет.

– Второй общечерноморский съезд, собравший Центрфлот, партийные ячейки, судовые и береговые комитеты, решительно осуждает… Требуем создать комиссии по установлению степени виновности…

Ничего в этих речах ей не понятно. Спрятаться, пусть даже в рванье зарыться, и скорее домой.

Лошадь всё же двинулась с места, поехали. Пустые улицы. Совсем пустые. Пустые дороги на выезде из города.

– По домам нонче все сидят! – бурчит возница. – Только нас куды-то несет!

Уже за городом их обгоняет грузовик, забитый до отказа непонятными людьми. По всем четырем углам в рост стоят матросы с винтовками.

– Расстрельных повезли. – Возница крестится.

– Как расстрельных? Откуда знаете?

– Теперя их так возят. Матросы с винтовками по углам, шоб не рыпались. При побеге палят во всех без разбора.

Грузовик скрывается за поворотом. Минута-другая, и снова звуки выстрелов, крики. Всё громче. Совсем не похоже на пальбу на митинге.

– Держи, гада! Держи!

– Убег кто-то… – снова крестится возница.

– Давайте не поедем туда! – Теперь уже просит сама Анна.

– А куды ехать-та? Впереди матросы. Позади, вишь вона, комиссары. На месте стоять – всё одно убьють. На кой ляд везти тебя согласился!

Лошадка семенит вперед, где на дороге на месте побега остались лежать несколько трупов. Грузовик с расстрельными уехал, а тела – вон они, прямо на дороге.

Анна, прищурившись от страха и плотнее прижав к себе дочку, разглядывает убитых. Мужчина в военной шинели. Еще один военный в старой флотской форме. Пожилой человек с разбитым пенсне… За что их всех? За что?!

И эта та революция, бежать смотреть которую она хотела в свои четырнадцать? Мать тогда не пустила на улицу без шляпки. Сейчас она без шляпки, в зипуне и пролетарской красно-черной шали, в которую кутает Ирочку и себя. И бежать не нужно смотреть революцию. Она уже везде. От нее и в этом рванье не спрятаться и не укрыться. Скорее бы доехать до дома! Велеть нагреть себе полную ванну горячей воды, согреться – и в постель. С головой укрыться. Спрятаться. Укрыться. Укрыться.

Возница крестится, на чем свет клянет самого себя, что согласился везти ее «в такое поганое время». Но не успевают проехать мимо трупов, как резкий окрик:

– Стой!

Тень метнулась из-за кустов, и уже рядом. Совсем рядом. Ветхая повозка проседает от запрыгнувшего на полном ходу человека.

– Гони быстро! Не оборачивайся!

Анна не оборачивается. Но краем глаза видит кортик, приставленный к горлу возницы.

– Гони! И молча! Всем молчать!

Господи, как страшно!

Голос срывается. Но голос знакомый… Такой знакомый голос, почти из детства…

– Николенька?!

– Анна… Львовна! Вы?!

Это не догнавшие их матросы! Это Николай, Николенька! Один из близнецов Константиниди. Офицер флота. Служивший здесь, в Севастополе. В ноябре вместе с матерью и братом Антоном к ним приезжал. В парадной форме. С красивой – в сравнении с гражданским братом – военной выправкой.

Теперь в грязном кителе, с разбитым лицом и раной в предплечье.

– Попали. Бог миловал, навылет. – Убирает кортик от горла возницы, чтобы скинуть китель и проверить свою рану.

– Гони его, дамочка, в шею! – крестится возница. – Ни за какие муку и яйца на такое не согласный! Комиссарские щас нагонят и за того офицера всех перестреляют.

Возница останавливает лошадь, велит им слезать, он поедет «до дому», а они «как хочут». Но острие уже снова у его горла.

– Придется вам кортик держать, Анна Львовна! Если буду держать я, в такой позе нас выдаст комиссарам первый же встречный!

Анна берет кортик. Пытается держать, как показал Николай.

Кортик дрожит и от тряски, и от ее внутренней дрожи, еще чуть и не нарочно поранит возницу. Ирочка от шума и криков проснулась, и теперь Анна качает ребенка одной левой рукой, а кортик дрожит в правой.

– Двигай! – командует Николай и зарывается глубже в рванину.

Но проехать гиблое место опять не получается.

– Стоять! Не двигаться!

Из-за поворота показывается авто. Патлатый комиссар в кожанке выхватывает наган.

– Стреляю на поражение! – Привстает на переднем сиденье. Облизывает обветренные губы. Давно не мытые волосы развеваются на ветру.

На дороге, в том месте, где остались три трупа, какое-то шевеление. Мужчина в пенсне шевелится, пытается подняться.

Комиссар резко поворачивается и стреляет в мужчину в пенсне в упор. Два раза. Анна закрывает глаза, плотнее прижимает к себе дочку. Первый раз в жизни на ее глазах убивают человека. И только вид разбитого пенсне, отлетевшего в сторону на дорогу, стоит перед ее глазами.

– Кто такие? Тебя спрашиваю! Что зажмурилась?!

Приходится открыть глаза. Комиссар смотрит на бричку. Тяжелый взгляд. Тяжелый. Сердце в пятки уходит. Сейчас найдет Николая. Пальнет в него, как в того мужчину. И попадет в Ирочку? Или в нее? Или в возницу. Или специально в них пальнет, что бежавшего расстрельного укрывают. Или арестует, а там, «в подвалах», поймут, что она «буржуа́зия».

– Кого везешь, старый?

Кортик от горла возницы пришлось ниже к его спине опустить. И шалью прикрыть. Кортик дрожит в ее руке, но упирается вознице в спину. Анна давит чуть сильнее, чтобы напомнить, что оружие на месте.

– Так бабу с младенцем. Застряли в городе. До дому везу.

И не врет ведь мужик. Она с младенцем. И везет он ее «до дому». Разве что бабой ее прежде никогда никто не называл.

– Проверить!

С заднего сиденья авто выскакивают два матроса. Подбегают к бричке.

Отче наш! Иже еси на небесех… Господи, помоги!

Штыками тычут в набросанную в бричке рванину. Только свист от прикладов с двух сторон от нее. Она сидит, на шевелится. Возница с кортиком у спины дрожит, но молчит.

– Никого! Пусто!

Как они не нашли под рваниной Николая?!

Комиссар резким движение головы откидывает упавшие на глаза пряди волос и жестом показывает матросам возвращаться в авто. Где-то она его видела. Или они все на одно лицо?

Он же, быть может, ещё совсем молод, этот комиссар. Обветренные губы. Тяжелый взгляд. Не узнает… В таком зипуне сложно узнать даму из Коломны в дорогих пальто и шляпке. Или не он это, просто похож…

Впереди снова выстрелы. Комиссар отводит взгляд. Поворачивается. С разбегу запрыгивает в свое авто, дает отмашку матросам ехать дальше.

– Не дать уйти живым!

Авто скрывается за поворотом. Оставив их бричку и несколько трупов на дороге в быстро сгущающейся темноте.

– Хрен собачий с такими яйцами! – утирает холодный пот возница. – На тот свет чуточку не отправили.

Анна онемевшей рукой держит, не опускает кортик.

Когда рев мотора стихает, едва шевелясь, она трогает рванину, силясь понять, жив ли Николай. Не проткнули ли его штыком насмерт? Робко зовет:

– Николенька!

Рванина шевелится. Николай выбирается из-под лохмотьев. Весь в крови.

– Попали.

Кровь течет из плеча и из бедра. Как молодой офицер не заорал от боли, когда его штыком кололи? Как сдержал крик?!

Лоскутами рванины Анна перетягивает Николаю раны, чтобы остановить кровь.

– Только бы до имения добраться. Там, как положено, чистым перебинтуем.

Николай жестко велит вознице трогать, Анне держать кортик, чтобы возница помалкивал, и снова в рванину прячется – мало ли кто по дороге увидит. Зарывшись, из-под рванины, рассказывает:

– В том грузовике нас расстреливать везли.

– Почему? Расстрелять почему? – всё еще не понимает Анна.

– Большевики – изверги! Всех стреляют. Без разбора. – Голос Николая тонет в февральском ветре, но отдельные фразы удается разобрать. – …Офицеров, отказавшихся перейти на сторону красных… в тюрьму…больше трех недель. Теснота, вонь, вши.

Анна дрожит. От страха. От холода. От рассказа Николая. От боязни не удержать девочку. Или кортик. Или встретить комиссаров, которым возница их сдаст.

– В два часа ночи команда матросов вместе с комиссаром тюрьмы……первые списки. И увели. Во дворе были слышны крики… борьба с татарским национализмом… заговор Севастопольской рады.

Возникшая за поворотом гора ненадолго прикрывает их от ветра. Слышно лучше.

– В четыре часа пополудни пришли за второй партией. Не церемонились. Били прикладами. Капитану второго ранга Вазтину пробили голову. Шварцу ребра сломали. В той же партии были лейтенант Прокофьев, полковники Шперлинг и Яновский, мичман Целиков, совсем юный, безусый еще, прапорщики Гаврилов и Кальбус, инженер Шостак, акушер Бронштейн…

– Семён Маркович, ох! Убили его?! – вскрикивает Анна.

– Всех убили.

Слезы, от страха или от ветра. Текут по лицу, застилая взгляд. А ей нужно видеть, как кортик держать, чтобы возница не вывернулся.

– Хоть бы к спине приставили, а не к горлу, кровь текёть уже, – ворчит возница.

Она было двигает руку, но Николай из-под рванины по-армейски командует:

– У горла держать! Ох, простите, Анна Львовна! У горла держите. Спину так быстро сквозь зипун не проткнуть, увернуться может.

«…Быстро сквозь зипун не проткнуть». Это Николай говорит ей?! Появись из-за поворота комиссары, и соберись возница кричать, неужели ей придется его проткнуть? Ей! Анне! Невинного человека кортиком проткнуть! Остается только молиться, чтобы никого не повстречать. По вечерам по горным дорогам ездить в такое время охотников нет.

Николай свой страшный рассказ продолжает:

– Вывели всех во двор. Кроме меня художник Казас, военные всех рангов – от контр-адмиралов до мичманов, старик Каган, всю жизнь в труде и в нужде, к летáм стал обладателем скромного достатка, жертвовал на сирот и инвалидов, на книжников, содержатель дома терпимости…

«Откуда Николенька содержателя дома терпимости знает?!» – мелькает у Анны в голове. Сама она даже от слов «дом терпимости» до сих пор краснеет.

Николай всё перечисляет и перечисляет выведенных вместе с ним на расстрел:

– Слышим, говорят, накладно трупы на пристань возить, бензина много уходит, и от грузовиков тяжело тащить, чтобы в море сбросить…

Опять ветер. Гора закончилась, началась другая. Но теперь ветер со стороны моря свистит, мешает Николая расслышать.

– «Сами… своими ногами… До пристани… Сами в море попадают…», – пересказывает разговоры палачей Николай. – …Стоявших к ним ближе погрузили на грузовик, остальных на подводы… повезли. Пока везли, матросы бахвалились, как первую партию заключенных днем постреляли. На одном из них были ботинки Семёна Марковича. И нательный крест полковника Яновского… «Креста на вас нет!» – не удержался, сказал им… терять было нечего… А тот матрос: «Как нет, когда есть! С вашего же буржуйского отребья снятый!»

Ботинки Семёна Марковича, на которые она смотрела, сгибаясь во время схваток! Ботинки Семёна Марковича…

– …Места, как свои пять пальцев, давно здесь служу… на повороте… заросли, и сразу еще один поворот, и обрыв… инженера Шостака и матроса Блумберга толкнул, жестом показал «по моей команде…».

– Матроса? Говорите, матросы расстреливали… Своих же матросов?

– И матросы матросов.

Анна уже не может этого слушать. А чудом избежавший смерти Николай не может остановиться:

– Жестом показал – все в разные стороны! Мы разом рванули кто куда. И еще кто-то вслед за нами. Успел у зазевавшегося охранника вырвать кортик. Прыгнул вправо и вниз в кусты под откос… чудом не разбился. Выстрелы… крики.

– Там убитые на дороге остались. Военных двое. И человек, который был в пенсне.

– Шостак. Инженер. Гражданский. Не повезло им. Потом услышал, что всё стихло. Стук вашей брички. И вы, как ангел небесный, Анна Львовна.

* * *

С божьей помощью до имения добрались.

Напуганного до смерти возницу, который с кортиком у горла всё же довозит их до ворот, оделяют оставшимися в тайных запасах управляющего мукой, яйцами и даже водкой. Водку возница большими глотками пьет прямо из горла́. Перекрестившись, прячет недопитое в бричку и уезжает.

Мать долго и подробно рассказывает, что с ней было, когда они вернулись из Мисхора, а ни Анны, ни Ирочки… День, другой, третий.

– И извольте радоваться! В рваном зипуне и старой шали, на расшатанной бричке с кортиком у горла ездока!

И дальше – что она, мать, за эти дни пережила! Во всем виновата, конечно, Анна, которая не могла сообщить, где она, хотя все вокруг так волновались. Дмитрий Дмитриевич с шофером Никодимом, рискуя собой, ездили в Севастополь к Бронштейну – бывший конюх Павел, ныне глава местного Совета, дал им их же авто, но вернулись ни с чем. Какие муки они все пережили!

Какие муки пережила Анна, не спрашивает отчего-то никто. Рассказывать вслух всё, что случилось с ней, у самой ни сил, ни желания нет. Кажется, близнецу Константиниди здесь гораздо больше рады, чем ей. Ему обрабатывают раны, наливают коньяка из тайных запасов мужа. И его, по счастью, здесь ждут родные.

Возвращаясь из Мисхора, мать с мужем в закрытом авто привезли другого близнеца Константиниди – Антона и их мать Аглаю Сергеевну, снимавших в тех местах дачу. Теперь их в доме для гостей прячут. Даже их конюх Сулим косится в сторону дома для гостей недобро, ему, татарину, не нужно знать, что там гостят греки.

Вывозить тайком друзей с греческой фамилией пришлось потому, что на всем побережье не осталось ни одной греческой семьи – всех, кто не успел уйти, вырезали.

– Татары на своем курултае обвинили греков в связях с большевиками и начали резню, – поясняет Антон. – Пока ехали, насчитали с десяток курящихся еще пожарищ!

– Все живые спешно ушли на север, – рассказывает Аглая Сергеевна. – Если бы вы не спрятали нас, что бы с нами было, и представить себе невозможно!

– Всю семью соседей Савиди вырезали – старика отца, двух его дочерей, зятя и четверых внуков, – добавляет Антон. – И всё за то, что муж второй сестры в июле в Симферополе с Советами работал. Кровь из двери их дома прямо на улицу текла. Подошвы моих ботинок до сих пор красные. – Поднимает ботинок хорошей кожи, впитавшей кровь. Не отмыть.

Каждому из чудом выживших братьев нужно выговориться.

Антон:

– Паника невообразимая: застигнутые врасплох жители бегут в одном белье, спасаясь в подвалах. На улицах форменная война: дерутся на штыках, валяются трупы, течет кровь.

Николай:

– Зачитали приказ «Именем главного комиссара Черноморского флота матроса Василия Роменца». Повели на расстрел. И организаторов татарского восстания. И не уплативших контрибуцию. И участников заговора Севастопольской рады. Секретарь рады Богданов сдавал все стенограммы заседаний большевикам, подлец!

Антон:

– Начался разгром Ялты. Татары знали все греческие семьи, их дома, тайные метки на них ставили. Кого не знали, по соседям искали. Если кто из соседей говорил, что рядом греки, резали без разбора…

Николай:

– «Расстрел виновных в количестве трёхсот восьмидесяти трёх человек». Так и зачитали: «В количестве трёхсот восьмидесяти трёх человек». Больного старика Карказа били кулаками. Синицу кололи штыками. Глумились над всеми. Их расстреляли в упор, и уже мертвых били прикладами и камнями по головам…

– Варфоломеевские ночи…

Муж, как всегда, со своими историческими параллелями.

– Что же Саблин?! – Мать возмущена бездействием очередного командующего Черноморским флотом. – Будь на его месте Колчак…

– Саблин заявил, что долг военного – приносить пользу России при любой власти! – Ненависть в голосе Николая. – Будь на его месте Колчак, флот снес бы Севастополь к чертовой матери, простите, или большевики были бы выметены из него.

Антон говорит о своем побеге, Николай о своем.

Голоса близнецов сливаются в один. Не разобрать, кто из них что говорит. Кто из них с какой стороны бежит. Их рассказы как волны, решившие вдруг катить навстречу друг другу.

– Одного брата спасли от большевиков. Другого – от убийства за необоснованное подозрение в связи с большевиками, – едва слышно произносит Анна.

– Время такое! – отзывается муж.

– Какое «такое»?

Она так хотела скорее вернуться домой! Подальше от места, где расстреливают несогласных с большевиками. И спасти чудом бежавшего Николеньку. А с другой стороны привезли бежавших от тех, кто расстреливает даже за подозрение в связи с большевиками.

И где теперь правда?!

Из дневника Анны

Анна. Март 1918 – апрель 1919

Качели.

К красным – к белым. К немцам – к Антанте.

Смену властей в этот год Анна устает считать.

Мать и муж по-прежнему политикой живо интересуются. А ей не понятно, чем одни других лучше.

Только в дневнике обыденно чередуются записи.

14 февраля 1918

Ирочка перевернулась на животик.

Горничные не смогли купить для мужа папирос. Приехавший из Феодосии конюх Павел рассказал, что табачники братья Стамболи разорились, отчего одного из них парализовало, другой заболел нервным расстройством. Табака теперь нет.

Набоковы вчера были страшно напуганы. Играли в покер с сыновьями и гувернанткой, как в дом ворвался разбойник. Воображаю панику. Но, по счастию, это оказался Осип, слуга Владимира Дмитриевича, который привез им деньги от Евы Любржинской и добрые вести о доме на Большой Морской. И о нашем доме хорошие вести – не реквизирован и цел. Осип привез и пачки писем, в том числе, много для мужа с кафедры, и для матери, и всего одно для меня – от любимой подруги Ирины Тенишевой, с которой у нас ровесницы дочки, моя Оля и ее Ира.

Мать у Юсуповых в Кореизе. Всю императорскую фамилию – вдовствующую императрицу Марию Федоровну с морганатическим супругом Георгием Дмитриевичем Шервашидзе, великих князей с детьми, и их свиты перевезли в имение великого князя Петра Николаевича в Мисхоре Дюльбер. Отпустили только великую княгиню Ирину Александровну, жену Феликса Феликсовича Юсупова. Посещать Дюльбер отчего-то разрешили только их двухлетней дочери Ирочке. Она теперь почтальон. Нянька подводит ее к воротам и ждет снаружи. К пальтишку княжны снизу приметывают письма.

Неужели это заключение? Объяснили всем, что для их безопасности – ялтинские большевики требуют казни всех членов императорской фамилии, а Севастопольский совет, от которого поставлен главный надсмотрщик, ждет распоряжения какого-то Ленина. Мать в ужасе. ДмДм говорит, может, и к лучшему. В Ай-Тодор войдет любой, а Дюльбер Петра Николаевича строил сам архитектор Краснов, и он как крепость – стены прочные, сторожевые башни, выступы. Неужели, всерьез, императорскую фамилию будут атаковать?!

19 марта 1918

Маша кашель. Ирочка – переворачивается на спинку.

Давно не была в свете – ни театра, ни галерей, ни приемов. И в вечернем платье нынче буду бог знает как выглядеть.

Газеты пишут: «От имени I съезда Советов, поименованного Учредительным, провозглашена Социалистическая Республика Тавриды». Что это значит? Благо, все эти власти до нас не доходят. Только названия меняются. В Ялту ездить нельзя, нужен пропуск.

Савва не вернулся к обеду. Все в страшном волнении. Как выяснилось, часовой хотел арестовать Савву, когда тот ловил бабочек, за то, что мальчик, якобы, сигнализировал английским судам. Нонсенс! Сачком, видимо, сигналы подавал. Во время полдника девочек явились

в дом, проверять Саввину коллекцию. Муж сумел убедить большевистских солдат в безопасности увлечений племянника. Солдаты даже вернулись после и еще каких-то бабочек Савве принесли, но тот сказал, что не очень ценных. Лучше бы промолчал!

23 марта 1918

За домиком прислуги гнездо. Маша и Оля с палки кормят галдящих птенцов. Утром Антип приносит одного в пасти. Олюшка плачет. Хорошо, Маша не видела. Человеку предан как собака, но всё же он волк.

Горничная Марфуша ездила к родным в Севастополь, рассказала, что в Балаклаве национализация домов и имений дороже «двадцати тыщ». Так и сказала «тыщ». Имение наше много больше 20 тыщ. И что теперь будет?

29 марта 1818

Дурные вести из Дюльбера – скончался морганатический супруг вдовствующей императрицы Марии Федоровны, князь Шервашидзе. Власти дозволили погребение в склепе Ай-Тодорской крепости.

Мать присутствовала. Сочла своим долгом поддержать вдовствующую императрицу, придающую земле уже второго мужа. Боюсь даже думать о таком, ДмДм меня много старше.

2 апреля 1918

Проснулась от шума внизу. С лестницы слышу, как кто-то говорит, что приехали национализировать земли и реквизировать ценности.

Мать требует постановление.

– По распоряжению председателя Таврического ЦИК Миллера штабу и моему отряду разрешено самостоятельно, помимо решения судебных органов, производить изъятие ценностей в пользу революции.

Сверху не видно, но голос кажется отчего-то знакомым. Спускаться не хочется.

– Мы уплатили контрибуцию! – Мать осторожна, показывает документ.

– А ценности? Можем произвести обыск.

– В доме нет ценностей.

Мать не врет. В доме ценностей нет. На прошлой неделе вместе прятали в тайник на утесе над обрывом, с которого в юности ей так нравилось прыгать в море.

– Можем реквизировать дом!

– Вы всё можете, – не выдерживает мать. – И отбирать, и невинных расстреливать, и устраивать варфоломеевскую ночь.

Зачем она так! Арестуют же!

Вдруг голос Саввы. Откуда он там внизу?

– Ваш же Предреввоенсовета Троцкий назвал расстрелы в Севастопольском порту и крепости «кошмарным произволом и беззаконием». И заявил, что виновники, «учинившие самосуд и расправу, революционным комитетом будут расследованы и преданы суду». И такое ваше самоуправство произволом и беззаконием назовет.

– Откуда знаешь, что сказал товарищ Троцкий?

– Читал.

– Знакома я с вашим Троцким, – неожиданно отзывается мать. – В 1914 году в Цюрихе. Фотокарточку показать?

– Покажите.

Шаги. Мать уходит в кабинет. Тишина.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.